



БАХШИЕВ

ФЕЛИКС

ВЫ
СЛУШАЛИ
РАВЕЛЯ

“Болеро”?





ВЫ
СЛУШАТИ
РАВЕЛЯ "Боисо"?





ФЕЛИКС
БАХШИЕВ

ВЫ
СЛУШАЛИ
РАВЕЛЯ
“Болеро”?

ДАГЕСТАНСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАХАЧКАЛА 2012

ББК 84(2=Даг) – 4
УДК 821.351
Б-30

Бахшиев Ф.

Б-30 Вы слушали Равеля «Болеро»? – Махачкала: ГАУ
«Дагестанское книжное издательство, 2012. – 336 с.

Творчество Феликса Бахшиева хорошо известно дагестанскому читателю сборниками рассказов, повестей, романом, публицистическими книгами. В предлагаемой читателю очередной работе, состоящей из стихотворений и документальной повести. автор размышляет о месте человека в растерянном обществе, о смысле жизни и поиске истины, призывает нас верить в силу добра над злом, в торжество красоты и любви над алчностью и фальшью, разьедающими душу.

ББК 84(2=Даг) – 4
УДК 821.351

Б 4702010206 – 2 26 – 2012
М 123 – 2012

ISBN 978-5-297-01531-9

© Бахшиев Ф., 2012
© Дагестанское книжное
издательство, 2012



От издательства

Имя писателя и журналиста Феликса Бахшиева широко известно дагестанскому читателю. За несколько десятилетий литературной деятельности им изданы девятнадцать тонких и толстых книг – художественных и публицистических.

Наиболее известные из них, принятые читателем, обратившие внимание на себя и вызвавшие заинтересованный разговор у литературных критиков, это такие сборники рассказов, повестей, роман, как «Слышать голос твой», «Бег времени», «Белый аист», «Привидение ведет на Голгофу», «Кардибская осень», «Монолог на площади Согласия», «Пришествие», «Время раздумий», «Портреты: XX век в лицах», «Было все в мире этом призрачно».

В новой книге Феликса Бахшиева много поэзии. Хотя он категорически не считает себя поэтом, стихотворения, созданные им, отвечают всем требованиям настоящей поэзии, заставляют читателя думать, сопереживать боли автора, размышлять о своем месте в растерянном обществе, верить в торжество добра над злом, света над тьмой, веры над неверием, будят в душе уснувшие в хаосе нового неоформившегося столетия чувства.

В документальной повести звучит извечный вопрос, волнующий и автора, и любого из нас: для чего мы являемся в мир, для чего живем и где, наконец, таится та истина, которую жаждет душа?



**ВЫ
СЛУШАЛИ
РАВЕЛЯ**
“Болеро”?



* * *

Голос ли разума.
Голос ли неба.
Где он, мой азимут?
Есть он иль не был?

Есть ли звезда моя
Там, в мироздании?
Иль я создал ее
В хрупком сознании?

Рядом ли кружится
Ангел-хранитель?
Как ему служится
В нашей обители?

Вижу видения.
Слышу я голос.
Миг провидения
Тонок, как волос.

Миг пробуждения
Очень не долог.
Мир сновидения –
В сердце осколок.

Рвется и просится
В небо душа,
Сердце и нервы
С хрустом круша.

Где он, мой азимут?
Слышу я слепо
Голос ли разума,
Голос ли неба.



* * *

Я жизнь не пил как терпкое вино.
Я мучился, искал, блуждал в потемках.
И только-только уложился в томиках,
Как подошло непрошено оно,
Седого времени веретено.
Крутись, крутись бесшумно, колесо,
Раскручивая нервы, мысли, силы.
Распни ты их, хотя и не просил я,
Но пощади для правнуков мое
Не тронутое подлостью лицо.



* * *

Ты знаешь, как рождается песчинка?
А в раковине вырастает в жемчуг?
А в космосе – в капризную комету?
А в лучшем случае, глядишь, в планету?
И рассыпается нежданно в пыль?

И вновь в мирах рождается песчинка,
И в раковине вырастает в жемчуг.
И крутится оно. Веретено.
Веретено твоих тысячелетий.



* * *

Что ждет меня за синим горизонтом?
Такой же тихий синий горизонт?
Или провал в клокочущую зону,
Где раскаляет легкие озон?

Что ждет меня в холодном поднебесье,
Где стынет в венах кровь, взрывая грудь?
Нет, к нам оттуда не приходят вести.
Они иной себе находят путь.

Что ждет меня в земле сухой и теплой,
Рождающей терновый куст и рожь?
Нет, не боюсь, что пред дорогой топкой
Меня охватит ледяная дрожь.



* * *

Я каждый вечер
Как страстный ветер
Мыслями там.

Срываюсь с кручи,
Врываюсь в тучи –
Мыслями там.

Плутаю в звездах,
Блуждаю в грезах –
Мыслями там

Ищу и стражду,
Сжимаю жажду –
Мыслями там.

Там, где ни хлеба,
Там, где ни неба –
Только мираж.

Там, где ни моха,
Там, где ни вздоха –
Только кураж.



* * *

Когда на свет рождается малыш,
Срывая сладострастным криком путы,
Уйдя в тысячелетия и тишь,
Я представляю поцелуй Иуды.

Когда, склонившись к чувственным губам,
Мужчина жаждет сладостной минуты,
Прибрав всю прелесть женскую к рукам,
Я представляю поцелуй Иуды.

Когда во тьму небес взмывает рев,
И я не вижу, как горюют люди,
Я чувствую, как остужает кровь
Слюнявый, липкий поцелуй Иуды.



* * *

Если ко мне наяву не приходишь –
Приди хоть во сне.
Впрочем, как знаешь,
 как мыслишь, как хочешь –
Ты вечно во мне.

Сплю или мыслю, смеюсь иль тоскую –
Ты в сердце моем.
Знал ли, что буду иметь я такую?
Ах, ангел-хранитель...
 Ох, горе мое...



* * *

Земля богов. Земля дедов. Земля отцов.
Земля глупцов. Земля лгунов. Земля творцов.
В тебя уйдя тысячелетьями корнями,
Рождаем мы и подлецов, и мудрецов.

Где пролит пот – шумят высокие хлеба.
Где слез река – взметнулась в небо лебеда.
И мак багровый покрывает поле брани –
Моей больной земли и радость, и беда.

Тебя дурманит блеск заморского огня.
Ты ищешь сытый мир, судьбу и жизнь кляня.
А мне милей дурман земли, ее морщины,
И тот клочок холма, что долго ждет меня.



* * *

Из вод приходим, а уходим в землю.
Как много в мире этом парадоксов
И не решенных временем вопросов.
Подумай, что важнее: плод иль семя?

Сняло покровы яблоко с Адама
И обнажило пред очами Еву.
К чему глупцы глаз не сводили с неба,
Когда плоды желанья были рядом?

Вокруг костров шумят аборигены,
Тамтамов боем угрожая звездам.
А может, почитают эту роздымь,
Считая прародительницей генов?

Идет борьба меж Дьяволом и Богом.
Один творит, другой смущает разум.
Я пробую все созданное на зуб
И прохожу меж ними боком.
Боком...



* * *

Был год, был страшный год, когда оскалюсь,
Кричали некто: кайтесь все, покайтесь.
И ты просил прощения у Бога,
Не совершивший тяжкого греха.
А грешник, вылакав вино из рога,
От смеха ржал и долго не стихал.



* * *

Бодибилдинг наша жизнь, бодибилдинг.
Или проще, так сказать – туризм.
То выходим на борьбу, то на митинг,
То царя жалеет, то коммунизм.

Мышцы, кости, мысли, дух – все в напряге,
Даже взгляд готов полмира снести.
Генетически, видать, мы варяги,
Но и те смогли покой обрести.

Или вирус в нас живет с сотворенья.
Иль ведущим нашим стал Сатана.
Век за веком уползает в боренье,
А она-то все такая ж, страна.

То забьется в алкогольном угаре,
То решится: эх, была не была...
И займутся над землей перегаром
Наши планы. И мечты. И дела.

Бодибилдинг наша жизнь, бодибилдинг.
Или проще, так сказать – туризм.
То на штурмы нас несет, то на митинг,
То взлетаем мы, то падаем вниз.

Бодибилдинг наша жизнь. Бодибилдинг...



* * *

Вот желтый лист,
Сорвавшись с ветки,
Зашелся нервно в пируэте,
И задыхаясь,
Лег на землю,
И мимо шедший человечек
Его прихлопнул сапогом.

А вон на тонкой
Длинной шейке
Стремится к солнцу
Одуванчик,
Но вдруг, потрянув
Загравком, ветер
Задул свирепо
И развеял
В мильон пушинок
Легкий шар.

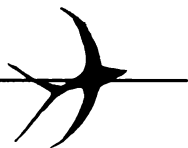
Вон кошка дом свой
Покидает,
Котят облизывая
Нежно.
Она стара.
Ей срок подходит.
Она уйдет
И не вернется,
Забрав с собой тепло семьи.

Ничто вокруг
Не бесконечно.
Свой срок у моря,
Свой – у леса.
Всему отмерено природой.
Ведь даже
У большой Вселенной
Есть и начало и конец.



* * *

Не вызывай сочувствия к
себе
И всеу не кляни судьбу
свою.
Ты – Бог Земли. Ты – Властелин
небес.
На том стоял. На том я
и стою.
Придется мир покинуть и
тебе.
Нет вечной жизни в солнечном
краю.
Ты гость земли. Ты жалкий сын
небес.
На том стоял. На том я и
стою.
Удел твой прост, хоть ты богат как
Крез.
Хоть и затопишь роскошью
семью.
Ты червь Земли. Ты лишний сор
небес.
На том стоял. На том я и
стою.



* * *

Горит свеча моя
и тает
Тягучей матовой слезой.
На улице истошно лает
Кобель заблудший
сам не свой.

Слеза скользит тягучей нитью
И застывает в хрупкий ком.
А на дворе на мокрых плитах
Горюет пес. По ком?
По ком?

Свечи в подсвечнике –
с огрызок,
И пламя рвется
в потолок.
Ее конец и тих
и близок.
И пес под окнами
умолк.
Подсвечник мой осиротеет.
С него отколят стеарин.
А странный пес,
душой старея,
Уйдет по улице один.



* * *

И мы любили. И мы смеялись.
И мы врывались
 в кулачный бой.
И мы страдали.
И мы ломались,
Но век свой честно прошли с тобой.

И вот пред нами
 рубеж известный.
Возьмем – и жить нам
 И вновь с огнем.
Заносим ноги.
 Под нами бездна.
Перешагнем ли?
 Перешагнем?
Вторую жизнь пройдем
 вдвоем?



* * *

В мир солнца мы приходим
одинокими
Без планов. Без богатства. Без друзей.
И в землю нас спускают
одинокими,
Как экспонат в завещанный
музей.
Но вырвавшись из мрачного
пленения
Кто в мраморе, кто
в скопище венков,
Потомкам служим – кто для
преклонения,
А кое-кто, простите,
для плевков.



* * *

Не ропщите на судьбу свою.
Воздадут вам, что вы заслужили.
Честь и славу – коли ясно жили.
Коли грязно – черную хулу.

* * *

Ложатся на деревья наши годы,
Одетые в хрустальные снежинки,
И укрывают страждущую землю
От непогоды, грязи и невзгод.
Кружат в каком-то страстном иступленьи,
А как взойдет, развеяв космы, солнце,
Уйдут без сожаленья тихо в почву
И вытолкнут на Божий свет цветы.



* * *

Как снежные лавы, плывут облака.
На кухне белеет кувшин молока.
В камине холодном

остыла зола.

На землю ложится нагая зима.

Фригидная дама, пышна и бела,
На окнах узоры морозом сплела
И в сердце скребется

холодной рукой,

Меня приглашая

на белый покой.



* * *

Как много света в этом снеге,
И как его недолог бег.
А в этой белоснежной неге
Пятном чернеет человек.

Искрятся поле, крыши, небо
До боли режущей в глазах.
По человеку или снегу
Сползает по щеке слеза?

* * *

Откуда ты явилась в этот мир,
Незванная, негаданная женщина,
На бал земной, на человеческий пир.
Какой планетой космоса ты мечена?

Ты стала божеством, ты наш кумир.
С землянами Создателем обвенчана.
Откуда ворвалась ты в этот мир,
Остановив времен движенье,
женщина?



* * *

Как четыре загадочных времени года,
Ты приходишь к мужчине.
Вдруг затопишь его будто вешние воды,
Вдруг зажжешься лучиной.

Вдруг любовью своею его околдуешь,
Вдруг отвергнешь проклятьем.
Вдруг надежду, как пламя лампы, задушишь
Вдруг излечишь заклятьем.

В твоём сердце, упрятанном в нише укромной,
Не живет постоянство.
Как и в мире, висящем над нами, огромном,
Как и в звездном пространстве.



* * *

Пять свечей подарила мне мать,
ровно пять,
Не четыре, не шесть и не семь.
Словно знала, что буду я ими распят –
Век писать – и не признан никем.

Мой подсвечник стоит, почернев
от забот,
Утомляя искусным литьем.
Мне б совета у мамы спросить –
не придет
И не вспомнит ни ночью, ни днем.

Может, в мире ином, подпирая щеку,
Взглядом мерит каждый мой
шаг.
Только как мне узнать, я понять
не могу,
Так живу я, мать, или не так?

Подарила свечей, уходя, ровно пять,
И не хочет никак их у сына забрать.



* * *

Чем восхищаться, милый собрат?
Перед глазами – черный квадрат.
Зелени, солнцу, свету венец.
Жизни и мысли мрачный конец.

Хмурый Малевич, странный мужик,
Пред преисподней вдруг затужил
И в полотне, обозначив погост,
Выстрелил чувства в маленький холст.

Но безызвестный некий пострел
В том полотне гениальность узрел.
И ободренный пан Казимир
«Черным квадратом» врезался в мир.

Так и юлит безызвестный порой,
Свой предлагая платья покрой.
Только запомни! Рад ты, не рад,
Путь твой направлен в черный квадрат.



* * *

Утоли моя печали.
Скинь уныния печать.
Было ведь – и мы встречали
На скирдах своих девчат.

Утоли моя печали.
Годы скачут резво вниз.
Мы детей своих венчали –
В них продолжить нашу жизнь.

Утоли моя печали.
Убывает в лампе свет.
Мы не славим жизнь речами
И не бегаем от бед.

Утоли моя печали.
Слышишь ропот на судьбу?
Мы так много не встречали
На дорогах голытьбу.

Утоли моя печали.
Ссыпь под ноги нам росу.
Небо мается плечами
И готовится ко сну.



* * *

Одна, вторая, пятая, десятая...
Идем по ступеням, крестом
распятые.
Ваш крест – ваш бич.
Мой крест – моя судьба.
Она мне и глашатай и судья.

Одна, тридцатая, шестидесятая...
Как грозди винограда, жизнью
смытые...
Для вас они – обычные года,
А для меня – в небесный мир
врата.



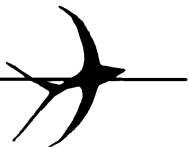
* * *

В какое время смутное живем.
В какой мы скверне души сохраняем.
А за окном – знакомое жнивье
И дуб листву багряную роняет.

И кот лежит вольготно на крыльце,
На воробья поглядывая странно.
А я читаю на твоём лице,
Как на лице пергамента, страданье.

Земля клокочет миллиарды лет,
Выплескивая огненную нечисть.
И пепел мира, смрад, и тьма, и свет
Валами катятся на наши плечи.

А мы живем. Столетия жуем.
Взрываем нервы... Кто об этом знает?
А за окном – знакомое жнивье
И дуб листву багряную роняет.



* * *

Осенний дождь смывает с нас грехи
И ластится, ленивый и рассеянный,
И клена желтый лист плетет стихи,
Ложась на землю, золотом усеянной.

Еще вчера под солнечным шатром
Хлестали душу краски многоцветия
И мы с тобой не думали о том,
Как резок переход времен соцветия.

Природы кисть готовит свой колор:
Зеленый, желтый, белый, хмурый, радостный.
Все по закону, а не нам в укор.
Мы гости в этом древнем храме благостном.

Не нам искать цвета. Не нам вершить
Свою судьбу, судьбу листа кленового...
А мокрый день под шинами шуршит
И ждет,

И ждет,

И ждет колора

НОВОГО...



* * *

Я расстилаю весну пред тобою.
Осень вплетаю в шелковые
косы.

И отгоняю усталой
рукою
Снежные хлопья,
дыханье мороза.

Цветом шафрана тебя
осыпаю.
Радую музыкой солнца
с рассвета.

Только не знаю.
Точно не знаю,
Кто ты
и где ты.



* * *

Перебирая четки лет,
Я вижу тень и вижу свет.
Я слышу след своей судьбы
И голос совести – судьи.

Скользит связующая нить.
Велит горошинам спешить.
И бьются камешки годов,
Дразня меня:

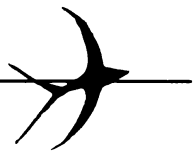
готов, готов...

А пальцы греют их теплом.
Шлифуют нежностью

и злом...

Срываются,
бегут года.

И все туда,
Все в никуда.



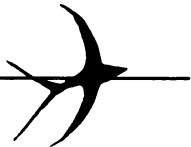
* * *

Прожив жизнь, на склоне долгих лет,
Понял я: конца у жизни нет.
Потеряв свой образ, свой портрет,
Перевоплотимся в горицвет.

Сотни дней пройдут и сотни лет.
Вновь вернемся мы на божий свет.
Но, вернувшись вновь на этот свет,
Обречем ли прежний силуэт?

* * *

Как много чинов наплодилось сегодня.
Красивы их кресла, богата сума.
Да жаль, что не додало царство Господне
Им чести мужской да палаты ума.



Все, что сегодня познаем,
Все было познано до нас.
У времени берем внаем
И возвращаем в скорбный час.



* * *

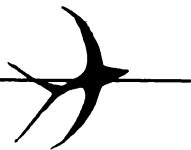
Токует глухарь на току:
– Я жить без тебя не могу.
Явись в оперенье любви,
Миг сладостный в жизни лови.

Токует глухарь на току.
Не медли на тайном суку.
К тебе он взывает, к тебе,
Единственной в хрупкой судьбе.

Токует глухарь на току.
Там, в мрачном зеленом логу,
Рябой молодой удалец
Готовит холодный свинец.

Токует глухарь на току.
Вон глаз опустил к курку.
Явись же на голос любви,
Миг сладостный в жизни лови.

Токует глухарь на току.



* * *

По рельсам неистово мчатся составы,
Ломая на стыках хребты тишине.

Никто

никогда

ни за что не заставит

Поверить, что истина только в вине.

Светятся окошки в уютных вагонах

И воздуха рвется упругая грудь.

Жизнь вечно в борении,

вечно в агонии,

Будь червем ты или вершиною будь.

Уносятся вдаль полустанки со свистом,

Хрустит, надывается рельсов хребет.

Наш век на земле и тягуч, и неистов.

Но в чем его смысл? Где хранится ответ?

В каком сундуке и в какой ипостаси?

В какой широте и в какой долготе?

А бабка капусту в чуланчике квасит

И тихо поет о святой доброте.



* * *

И все. Я прожил жизнь. Вкусил ее плоды
И по реке пустил трудов своих плоты.
Пристанут ли они к надежным берегам?

Я на стремнинах рек их сдерживаю бег,
А попаду в затон – молюсь на оберег.
Прибудут ли они желанным грузом к вам?

Бывало, я тонул, но плота тяжкий скрип
Был во стократ сильнее, чем тонущего крик,
И я взрывался вверх сквозь толщу
синих вод.

Палящий солнца круг хлестал меня огнем.
Я принимал его живительным дождем,
Чтоб не сгореть в аду,
Глядя в небесный свод.

Мой ангел мне дарил своей любви плоды.
И вот плывут они, трудов моих плоты,
И ищут день и ночь пристанища себе.
Не вздрогни, если вдруг они придут
к тебе.



* * *

Мой сад большой. Ведь мне немало лет
И каждый год мой – это древо сада,
И каждый плод, рожденный мной на свет,
Кому оскомина,
кому услада.

Шумит листва, стоят мои стволы,
Пока земля еще их поит соком,
И медленно бредут мои волы,
Мои лета, уставясь в землю оком.

Еще бредут усталые волы,
И скрипок скрип даруют мне стволы.



* * *

Отгорает на небе звезда.
На щеке остывает слеза.
Вылетает журавль из гнезда.
Увядает под тучей лоза.

Моноotonно под рокот и стук
Колесо совершает свой круг
И готовится времени лук
Нанести свой решающий хук.

Но опять серебрится звезда
И по рельсам идут поезда...
Продолжается жизни езда.



* * *

Соловьи поют очумелые.
Я смотрю в твои очи милые –
В них мне слышится: окаянные,
Мы по жизни идем оба пьяные.
Оба в чистой любви неутешные.
Оба в личных делах неуспешные.

Сокол падает камнем на горлицу.
Крик истошный разносится по лесу.
В нем мне слышится: жизнь переменчива,
Если богом твои перья мечены.
От судьбы никуда не укроешься –
В чистом поле травинкой уколешься.

Гребнем времени волосы выцвели.
По весне вместе с яблонькой мы цвели,
А по осени слышали шорохи
За спиной, силуэты за шторами.
С каждым годом заметно ветшали мы,
Расставаясь с своими причалами.

Снег лежит на висках и на темени.
Может – срок, может, он не ко времени.
Снег лежит – ну и пусть он красуется,
Словно в дом я явился вдруг с улицы.
Словно жажда во мне не убавилась.
Словно яблонькой ты мне представилась.

Соловьи поют очумелые.
Я смотрю в твои очи милые...
Жизнь, чертовка моя, окаянная,
Ходишь по свету девушкой пьяною...



* * *

Еще не вечер.

Но теперь

Мы полюбуемся закатом,

Прекрасным светом

в семь накатов.

Остудим души от потерь

И пустимся в воспоминанья

Прекрасных дней и подлых дней.

Услышим в адрес свой признанья,

Как в пору юности своей.

А краски жгучего заката,

Распушив хвост

и отгорев,

Сотрутся в пепел,

Как когда-то

В камине путь к тебе сгорел.

Камин остыл.

И мы остыли,

И все ж наперекор судьбе

Дней череду круша постылых,

Я шел, я брел, я полз к тебе.

И я дошел. Ты мне поверь:

Мой путь был ангелом заказан.

Еще не вечер. И теперь

Мы полюбуемся закатом.



* * *

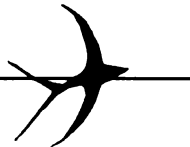
Впереди у меня зима.
Это знаешь и ты сама.
Так позволь мне не тешиться мыслью,
Что я сокол, а не сова.

Впереди беспробудный сон
И дворец без резных окон.
Проводи меня в синюю роздымь
С четырех световых сторон.

Я не с криком уйду в зарю.
В свете вихря не отгорю.
Пред полетом своим светозарным
Миру душу свою подарю.

* * *

Август пропотел. Слезится осень.
Голос грома грохается оземь.
Будто вымя, тучи напряглись.
И с остервенением веселым
Вслед за громом, с вихрем унесенным,
Воды мира с неба сорвались.



* * *

Дожди расписывают землю,
Обмакивая в тучи кисти,
И холст земли, сухой и чистый,
Приобретает вкус небес.

Потокам вод деревья внемлют,
Разлапив плачущие листья.
За горизонт спешит укрыться
Иссеченный струями лес.

И где-то ворожит кукушка,
Подкидывая людям годы.

И где-то в поднебесье, в водах,
Гремит железной бочкой бес.

И этот мир – твой мир чудес.



* * *

Заглянул мне в окно человечек,
Узкоглазый, лицом с огуречик,
И шепнул: – Не пугайся, не стоит,
Я твой брат, а зовут гуманоид.

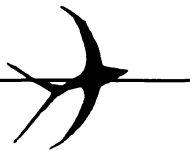
– Ното Нод? Ты родственник Ноя?
Не принес ли вестей ты мне новых?
Может, близится время потопа?
Или слышал ты мамонтов топот?

Ледники затопили планету?
Ураганы шныряют по свету?
С хрустом рушатся в штатах Эмпайры?
Нас постигла небесная кара?

– Не пугайтесь безвольной стихии.
В вас заложены силы лихие.
Вас создали для этой планеты
Освятить ее разума светом.

Только вы переели немного
И разрушили к храму дорогу,
Да под тяжестью бедер и брюха
Стали к голосу разума глухи.

Заглянул мне в окно человечек,
Узкоглазый, лицом с огуречик,
Вразумил, и исчез в мирозданье
До второго, наверно, свиданья.



* * *

Тик-так, тик-так,
 тик-так, тик-так,
Плетется жизнь ни так ни сяк.
К высотам тянется дурак.
В джакузи плещется босяк.
На ветке нежится хомяк.
Клешней подругу гладит рак.
Бомж одевается во фрак,
А негр краснеет, как бурак.

Тик-так, тик-так,
 тик-так, тик-так,
Флиртует жизнь и так и сяк.
Лисицу тискает русак.
Гогочет во дворе гусак.
Садится девка за верстак,
А муж взбирается в гамак.
Лежит, качается чудака,
Чуток сюда, туда чуток.

Тик-так, тик-так,
 тик-так, тик-так,
Лукавит жизнь и так и сяк.
Не устоится ну никак,
И, будто желтенький пятак,
Катится тихо в буерак.



* * *

Отгорел мой день сегодня, отгорел.
Несвершенными остались много дел.
Незаженными погибло много слов.
Неуслышанным остался сердца зов.

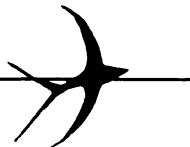
Отзвенел мой день сегодня, отзвенел.
Ветер теплый надо мной не сатанел.
И цикады не цикадили в кустах.
Тишина спала, пушиста и пуста.

Откатил мой день сегодня, откатил
От поднятых мною струганных стропил.
И теперь я не уверен, право, в том,
Подниму ли в срок задуманный мной дом.

Отшумел мой день сегодня, отшумел.
Он на сладость не бросался, словно шмель.
Он пунцовых лепестков не замечал.
Он беззлобно и бесслезно отмирал.

Отпотел мой день сегодня, отпотел.
Освежиться ливнем он не захотел.
И, томимый нестерпимой духотой,
Примостился у порога, как слепой.

Примостился у порога, как слепой,
Будто он не мой, а может быть, немой.
И плетет неслышно бархатную тень,
Чтобы ночь зачала снова новый день.



* * *

Красный конь стоит на косогоре,
Мается в закатном ореоле.

Черный конь пасется на кургане,
Растворяясь в призрачном тумане.

Белый конь за счастьем с храпом мчится.
Под ногами шелком степь струится.

Кони,
 ну заставьте род людской
Захлебнуться вашей красотой.



* * *

Стою с протянутой рукой
Перед минувшим,
 словно нищий.

Я в этом скопище не лишний.
Я, как и все.

 Но я другой.
Живу другими временами,
Ушедшими за тыщи миль...
Там, за закатом, где ковыль,
Играют кони стременами.
И Баха мечется орган.
И скачет жаворонком флейта.
И песня ямщика не спета.
И над полями – ураган.
Там есть и бури, и покой.
Тепло души под доброй крышей.
Перед минувшим, словно нищий,
Стою с протянутой рукой.



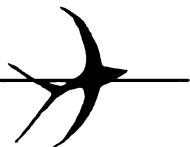
* * *

Эта небесная пена
Моет сапфировый шелк.
Лето симфонию спело
И упокоилось в срок.

Пена клубится в сугробы.
Осень готовит дожди.
Голый, сухой и суровый,
Тополь под ветром дрожит.

Небо укуталось в саван,
Стужу швыряет в лицо.
Снегом исхлестаны ставни.
Шубой накрыто крыльцо.

Небо и мы. Мы и небо
Вечно в пьянящей игре.
Ждем откровения слепо,
Словно сидим на игле.



* * *

Белый пух шалит над городом.
В пене яблоневый сад.
Как с тобой мы были молоды
Ровно сорок лет назад.

Солнце нежит лапкой нежною.
Кот взобрался на плетень.
Не нарадуемся свежестью:
– Как прекрасен этот день.

Тихий снег с холодным лепетом
Дом и землю обоймет.
Глянем в зеркало – и с трепетом:
– Дел еще невпоровот.

– Детям, внукам не оставить бы.
– Довершать все нам с тобой.
А за старенькими ставнями,
Ветками укрывшись старыми,
Время крой выводит свой.



* * *

А было счастье или нет,
не знаю.
Ведь если жизнь на части
разложить –
Какая-то просила лишь участия,
Какая-то просилась ублажить.

А было счастье или нет,
не знаю.
Я, как от царства отрешенный
Лир,
Беру судьбу
за тонкое запястье
И увожу
в свой выдуманный мир.



* * *

А правда наша уж давно не правда.
И ложь уже не та святая ложь.
Вся наша жизнь огромная шарада
С ошибками, неточностями сплошь.

И кривда наша уж давно не кривда.
И потеряла прелести печаль.
А мы, атланты и кариатиды,
Несем всю эту нечисть на плечах.



* * *

Она прошла. Вернулась...

И ушла.

А я глядел ей вслед.

И не окликнул.

Луна осоловелая взошла

С запятнанным, но благородным

ликом.

Я смог бы крикнуть вслед ей:

– Погоди,

Присядь со мною.

Ведь еще не вечер.

На мир уставший вместе поглядим.

На тьму аллеи и кипарисов свечи.

Былое мы не будем вспоминать.

Что было –

будь оно благословенно.

Что будет – нелегко предугадать.

Быть может, ждут нас яркие мгновенья.

Я мог бы крикнуть вслед ей:

– Оглянись.

Верни мне смелость взять тебя за руку

И распахнуть мятущуюся жизнь

Как верному,

мятущемуся другу...

Она прошла, величия полна.

А я глядел ей вслед. И не окликнул.

Судьба моя, ты словно та луна

С загадочным, но благородным ликом.

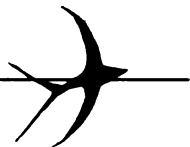


* * *

Зеленые брызги рассыпались
Из теплых раскосых глаз.
В аллее деревья осыпались
В глухой предвечерний час.

О женщинах много расписано,
А я – две строки о вас:
Зеленые брызги рассыпались
Из теплых раскосых глаз.

Века будут пеплом обсыпаны,
Но вечен в душе тот час:
Зеленые брызги рассыпаны
Из теплых раскосых глаз.

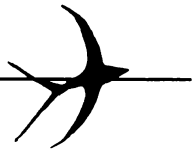


* * *

И все. Была как луч зари –
и нет.
Не подносить фиалковый букет.
Не петь стихи под тихий звон души
И чувства в сердце гулком
не душить.

Как говорил премудрый Соломон,
Все – суета сует,
все – краткий сон:
И добрые дела, и красота,
И взятая тобою высота.

Все – суета...
И это все пройдет.
Но только ведь...
оно опять придет:
Волною захлестнет нас
красота,
Забьется птицей хрупкая мечта,
В глазах лучистых вспыхнет свет
добра,
Вот только...
вот дожить бы до утра.



* * *

Стоим с тобой над пропастью
во лжи.

Глаза в глаза смущаются глядеть.

И сердце,
словно иволга,
дрожит,

Как будто собирается взлететь.

Стоим с тобой над пропастью
во лжи.

И мир не тот,
и жизнь уже не та.

Не знаешь, как шумливый день
прожить –

Гнетет неверье, ложь и маета.

Стоим с тобой над пропастью
во лжи.

Ведь были дни в оправе золотой,

Когда, укрывшись от людей
во ржи,

Покою упивались мы с тобой,

Не ведая, что ждет нас у межи...

Стоим с тобой над пропастью
во лжи.



* * *

Не отлетай, последний лист осенний.
Попробуй, задержись на скучной ветке.
В тебе так много золотого воска,
А может, янтаря с уснувшей
мушкой.

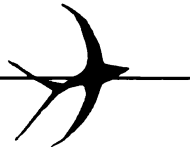
В тебе застыло наше настроенье
И наша вера в красоту земную.

Не отлетай, последний лист осенний.
Ты так красив, умытый нежным
солнцем

И вычищенный поздними дождями.
Оно тебя нещадно припекало
И облако слезами не поило,
Но ты держался крепко, как солдатик,
И верный долгу пост свой не оставил
И доставлял нам бархатную
радость –

Дарил нам красоту, само понятие
Очарованья и отдохновенья...

Не отлетай, последний лист осенний.
В тебе так много золотого воска,
Прозрачности и ясности янтарной,
Чего нам не хватает в серых буднях.
Но сможешь ли наперекор природе
Ты удержаться на усохшей ветке?
Не отлетай, последний лист осенний.



* * *

Мастер подгоняет плитку к плитке.
Подбивает твердой колотушкой...
И бежит бетонная дорожка,
Мозаичной росписью красуясь.

Я вяжу года суровой ниткой
И тяну ковровую дорожку.
Может, кто-нибудь по ней пройдет,
Разомнется и продолжит путь?



* * *

Я прилетел к тебе из дали дальней,
Сошел на землю. И увидел червя.
Не червь, а малый червячок ленивый.
Он извивался, уползти желая.

Над нами дождик моросил печально,
Раздумывая, лечь или растаять.
Хотя земля была уже умыта
Дождем, хлеставшим сильно накануне.

Над нами дождик моросил печально
И червячок бессильно извивался,
Желая побыстрее от света скрыться
И уползти от человека дальше.

Неужто сознавала эта кроха,
Что может раствориться под подошвой?
Ведь разум дан лишь человеку.

Только?

Но почему щенок глядит в глаза мне
И мысленно мои читает мысли?
Но почему слезами плачет лошадь,
Когда ей больно, нестерпимо больно,
И долго смотрит на меня в надежде,
Что я пойму и облегчу страданье?
Но почему бездомная собака
Бездомного котенка тихо кормит?
Ну как понять все это наважденье?
Инстинкт? Рефлекс? Защитный код природы?

Над нами дождик моросил печально
И червячок бессильно извивался,
И я стоял в печали и в раздумье
О нашем непонятном мирозданье.
Я прилетел к тебе из дали дальней
На мощном и красивом самолете,
Взрывая воздух, обгоняя время,
Любуясь синим и безбрежным небом,
И снежными в сугробах облаками,
И чашами морей и океанов,
И изумрудом островов и рифов,
Полей, лесов, непроходимых джунглей.
Я прилетел к тебе из дали дальней
С желаньем рассказать о красках мира
Моей планеты
И твоей планеты,
О чувствах, затаенно спящих
в сердце.

И вдруг застыл под небам морозящим.
А червячок так тяжело извивался,
Желая побыстрее куда-то скрыться,
Чтоб не попасть под жесткую
подошву...



* * *

Благословен сентябрь в Железноводске.
Еще смеется озорное лето.
Еще тепла вода в озерах плоских
И спины тихих гор в леса одеты.

Благословен сентябрь в Железноводске.
Фонтан поет мелодию Орфея
И лестница, сработанная броско,
Сбегает вниз, теряется в аллеях.

Благословен сентябрь в Железноводске.
Грохочут тучи грозовые где-то,
А здесь друзья из Ржева, Курска, Орска
Встречаются, как прежде, у бювета.

Благословен сентябрь в Железноводске,
Пора щедрот душевных и природных,
Пора, когда людей роднит не водка,
А гроздья чувств благих и первородных.

Благословен сентябрь в Железноводске.
Здесь пахнет резедой, фиалкой, воском.
Здесь воздух пьют, а не вдыхают вовсе...
Скажи, ты испытал его блаженство?

Благословен сентябрь в Железноводске...



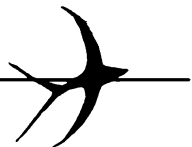
* * *

Под вой ветров, под шум дождей
Ты в муках строишь жизнь,
А мотылек вокруг свечи
Танцует вальс «Каприз»

То вверх взберешься весь в поту,
То устремись вниз,
А мотылек вокруг свечи
Танцует вальс «Каприз»

Тебе не мил ни пенный вал,
Ни бирюзовый бриз,
А мотылек вокруг свечи
Танцует вальс «Каприз».

Ты долго ищешь жизни смысл.
Жизнь – красочный сюрприз.
Вот даже мотылек в свой миг
Танцует вальс «Каприз».



* * *

Я вздрогнул, увидев знамение в небе:
Горит горизонт, умываясь в крови,
И шляпа земли накренилась нелепо,
На смуглые плечи сползти норовит...

Что значило это знамение свыше?
За что устрашало? И было ль оно?
Я тихо сидел под соломенной крышей,
Пил кофе с водой и глядел на гумно.

Темнел, угасал в странных росписях запад,
И в озере дальнем чернела вода,
И белой акации сладостный запах
Струился в окно как в былые года.



* * *

Все сказано.

Все спето.

Все описано.

И все же сердце требует творить.

Как будто кем-то все тебе

предписано,

И он велит все снова

повторить.

Все прожито, объезжено,

все видано

И, кажется, душа давно уж спит,

Но что-то или кто-то в ней невидимый

Скорбит

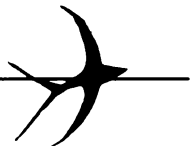
и нам с тобой скорбить велит.

Быть может, за загадочными звездами

Судьбу твою твой грозный Зевс вершит?

Мы жили и живем благими грезами,

Да в горле остро истина першит.



* * *

Плачет алыт за холодной стеной
Без рыданий, без громких стенаний.
Изливая из сердца страданье,
Плачет алыт за холодной стеной.

А под бледной и старой луной
Воет ветер неистово волком,
Не капризно, а с чувством и толком
Под шершавой и старой луной.

Что заставило в тихую ночь
Растревожить безумного алыта?
Бита или припрятана карта
В эту странную лунную ночь?

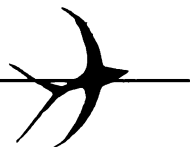
Судьбы рушатся с первой звездой.
Судьбы крошатся не по заказу.
Где-то там, где никто и не лазал,
Мы обвенчаны все со звездой.

Кто строчит нашу книгу судьбы?
Кто нам пишет духовную песню?
В этом мире безбрежном как тесно,
Что никак не уйдешь от судьбы.



* * *

Колокола гудят, колокола,
Малиновым переливаясь звоном.
Ветшают годы, превращаясь в пепел,
И уползают в жесткие морщины,
И покрывают голову венком
Тончайшим из безвременья слепого.
А на холме, под небом голубым,
На перекрестке жесткой тьмы и света,
Колокола звонят, колокола,
Малиновой переливаясь песней.
И подпевают в роще соловьи,
И ласточки у озера шныряют,
И высоко над степью беспредельной
Тяжелый воздух ястреб сторожит.
А над землей, притихшей от работ,
Сопящей сладко перед пробуждением,
Колокола поют, колокола,
Малиновой переливаясь скорбью,
И словно плачут по твоим годам,
Готовящим себя для перегноя,
Чтоб по весне опять взошла трава,
И яблони оделись белой пеной,
И муравьи сплотились в легионы,
И черный жук над кочкой пролетел...
Над временем. Над жизнью. Над тобой.
Над верою, надеждою, судьбою,
Колокола кричат, колокола,
Малиновой переливаясь болью.
Колокола поют, колокола...



* * *

Уведи меня в желтую осень,
Где деревья плетут паутину
И небесная тонкая просинь
Нам с тобою споет сонатину.

Уведи меня в золото леса,
Опаленного нежной печалью.
Он волшебствует, старый повеса,
Шумным вздохом и звоном венчальным.

Уведи меня в желтые степи,
Где трава умывается охрой
И туманы молочные стелят
Покрывала. И в воздухе мокро.

Уведи меня в желтую осень,
Голос разума ангела просит.



* * *

Море в дымке.
Город в дымке.
Люди в дымке.
Мелочишко в продовольственной корзине
Брюки виснут на невидимой резинке.
Жизнь забавна, как на розовой картине.

Шепчет бабка:
– Дай нам, Боже, что негоже.
А у Бога, что и гоже, втайне тоже.
Да и всем раздать давно уже не может:
С этим стало в наше время как-то строже.

Благо снится. Благо ищут. Благо просят.
Кой-кого с пути господнего заносит.
Кое-кто в сердцах и Господа поносит.
А ведь блага, словно тающие росы:

Заискрятся, засверкают и растают,
Унесутся в небеса с утиной стаей,
Ни портрета, ни рисунка не оставив.
Лишь завидовать да сетовать заставят.

Море в дымке. Город в дымке. Люди в дымке.
Миром правят наши мысли-невидимки.
Для кого они веселые страшилки.
Для меня – монеты звонкие в копилке.

Море в дымке.
Город в дымке.
Люди в дымке...



* * *

У калитки в дождливое лето
Я стою с рюкзаком за плечом.
Пахнет терпким вином и котлетой...
Тьфу. Ведь это стихи ни о чем.

Из-под шкуры взъерошенной тучи
Солнце остро кольнуло лучом.
– Что творится там, в небе дремучем?
Нет, и эти стихи ни о чем.

Мой попутчик глядит исподлобья,
Ну, а если точнее – сычом.
Жестким ртом воздух утренний ловит...
Вот и эти стихи ни о чем.

Видно, песни о лете все спеты.
Чувства вытекли звонким ручьем.
Степь колышется в мареве летнем...
Может, все-таки песню начнем?



* * *

В Долине роз рассыпана роса.
В Долине роз опять восходит утро.
Блестит шатер небесный перламутром,
Упрятав в складках сонные глаза.

В Долине роз рассыпана роса.
Как будто дождь промчался бриллиантный.
На лепестках, на травах, на лианах
Сверкает освященная слеза.

В Долине роз рассыпана роса.
Но вот уже крадется солнце хитро,
И на живой из роз и трав палитре
Искрит и гаснет мокрая краса.



* * *

«Правды нет!» – изрек дурак однажды.
Ну а что там, в шелковой траве?
В бриллиантовой росинке каждой?
В золотистой утренней заре?
В голубой рокочущей речушке?
В снежной шапке стынувшей горы?
В глиняной месопотамской кружке?
В саркофаге сгинувшей поры?
В сердцевине дремлющего дуба?
В твердом шаге черного быка?
Было бы, поверь мне, очень глупо
Правду услышать от дурака.



* * *

Наше детство прошло в переулках,
В подворотнях, в кривых тупиках,
Под бренчанье гитары об урках
И в кулачных веселых боях.

Мы со школьных уроков срывались,
Убегали не в дверь, а в окно.
Что носили и чем мы питались –
Было нам, пацанам, все равно.

Лишь бы черного хлеба краюшка
Да отмытый водой помидор.
Мелочишка с отцовской получки
И заманчивых улиц простор.

Ах, свобода, ах, детская шалость!
Как тоскуем мы ныне по ним.
Тех годов горьковатую сладость
Мы в изношенном сердце храним.

А сегодня безусые внуки
Разъезжают на модных авто.
«Черный бумер» поется со скуки.
Казино заменило лото.

Грустный Пушкин уходит из жизни.
Рвутся в двери Донцовой тома.
Время новое вносит сюрпризы
В наши чувства, сердца и дома.

Времена наступают другие
И иные пришли племена.
Власть взнуздали ребята крутые.
Сеют в землю свои семена.

Где вы, милые грубые урки?
Где задор ваш и горький укор?
Исчезают в ночи переулки
И печальный гитарный аккорд.



* * *

Горела рукопись в камине.
Чернели в пламени листы.
А за окном цвела калина
И были небеса чисты.

И над далеким темным лесом
Катило солнце желтый круг,
И слышались из-под навеса
Щенячий визг и дятла стук.

Жизнь преломлялась в разных красках
И в многочисленных шумах.
Скользило время, словно в сказке,
И спотыкалось о шутах.

Все шло по таинствам законов
Своим обычным чередом –
И круто вверх, и под уклоном.
Но речь-то вовсе не о том...

Горела рукопись в камине.
Чернели в пламени листы...
Кто в этом варварстве повинен?
Не бог. Не зверь. Не я. Не ты.

Но кто швырнул в порыве гнева
Потоки мыслей в топку зла?
Листы так нехотя горели,
Стонали, ежились, скрипели,

Слова роптали и гудели,
И рассыпалася зола.

Когда-то где-то кто-то молвил,
Что рукописи не горят
И продолжают суесловить,
И как молитву повторять...

Но только вынесут из дома
Творца на солнечный погост –
И рукопись – уже оскома,
Поднадоевшая всем кость.

Неприхотлива, некриклива,
Обуза дому и семье,
Она пылится сиротливо
В столе, а может, на скамье.

И в час любви безнадежной,
Листая желтые листы,
Рука холеная небрежно
Бросает в топку их: – Прости.

Горела рукопись в камине.
Чернели в пламени листы.
А за окном цвела калина
И были небеса чисты...



* * *

Я к гадалке пойду погадать,
Что судьбой мне назавтра обещано.
Может быть, ею даже завещано,
Только сам не могу угадать.

Лягут рядом король и валет.
Ляжет дама и туз присоседится.
Заворкует, а может, рассердится
Черноглазка семнадцати лет.

Под ресницами спрятав свой взгляд,
Полог тайны откинет заманчиво,
И, ступая к душе моей вкрадчиво,
Поведет меня в карточный ряд.

Не желал я с гадалкой дружить.
Но кому в этом мире доверишься?
Слева – ложь. Справа – лесть. Не отвертишься...
С честью хочется срок свой прожить.

Я к гадалке пойду погадать,
Чем бы в памяти внуков запомниться.
В мире много соблазнов готовится,
Чтобы совесть и честь запятнать.

Жизнь не мачеха нам и не мать.
Кто полюбит ее, кто не слюбится.
Все свершится, исполнится, сбудется,
Если сможешь ее оседлать.

Я к гадалке пойду погадать.
Озадачит меня черноокая,
Уведет в океаны глубокие
Темных тайн, где ни зги не видеть.

Где она умудряется брать
От природы сокрытые знания?
В глубине своего подсознания?
Или просто научена врать?

Не желал я к гадалке идти.
Но кому в этом мире доверишься?
Слева – ложь. Справа – лесть. Разуверишься,
Ненароком споткнувшись в пути.

Я хочу, я горю услышать
Слово теплое, жесткое, вещее...
Что судьбою мне завтра обещано –
Я к гадалке пойду погадать.



В широко распахнутых глазах
Слышу тихий шепот «ох» и «ах»,
Чую сладость, а еще испуг,
Будто бы любви замкнулся круг.

В закромах упрятанной души,
В темной, неизведанной глуши,
Что-то бьется,
 к горлу что-то прет,
Сердце рвет и к голосу бредет.

Ожиданьем искренним полна,
Мается, как тихая волна...
Женщина застыла у окна.
В целом мире женщина
одна.



* * *

Души моей отдохновенье –
В плену зари зеленый лес,
И речки мерное течение,
И синь немереных небес.

Души моей очарованье –
Звезды зеленой хрупкий глаз,
Луны, спешащей на свиданье,
Бледно-сапфировый окрас.

Души моей святая бренность
Твой тонкий призрачный овал,
И взгляда пляшущая снежность,
И смеха грозовой обвал.

Душе моей, прости меня,
Легко и сладко без тебя.



* * *

Как поздно вспоминаем мы,
Что жизнь до боли коротка...
А в дымке пьяной кутерьмы
Несется бурная река.

Стремительна и холодна,
Она то стонет, то ревет,
А белоснежная волна
Вот-вот нас в клочья разорвет.

А хамовитая вода
Врывается в открытый рот
В тот самый краткий миг, когда
Нам нужен воздуха глоток.

Несется гневная река,
Ломаясь с хрустом в бурунах,
И широка, и глубока
Она кипит на валунах.

Устали руки. И душа.
Ей мнится сладостный покой.
Но мысли сладкие круша,
Ревет волна над головой.

И вдруг скрывает нас на миг,
И вдруг выносит вверх, легка...
Как поздно вспоминаем мы,
Что жизнь до боли коротка.



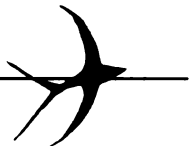
* * *

Мы дети вечности с тобой.
Обвенчаны одной судьбой.
Приходим мы на водопой
К земным озерам

И улетаем в небеса,
Когда взрывается роса,
Когда кричат по нам леса
И плачут хором.

Мы дети Млечного Пути,
В нас ровный пульс его стучит.
И свет его храним в груди,
Пока мы дышим.

И там, в бездонной глубине,
На чистой радиоволне
Земные вздохи по весне,
Тоскуя, слышим.



* * *

Не в большом позолоченном храме,
А под небом с открытым лицом
Исповедуюсь тихо я маме
И в астрале гуляю с отцом.

В этой жизни, похожей на драму
С непонятым и тайным концом,
Исповедуюсь тихо я маме
И здороваюсь утром с отцом.

Я не знал ни позора, ни сраму,
Хоть и слыл средь людей гордецом.
Исповедуюсь тихо я маме
И беседую часто с отцом.

Не дружил я ни с вором, ни с хамом,
Не сидел за столом с подлецом.
Исповедуюсь тихо я маме
И решаю проблемы с отцом.

Хоть всегда благодушен я с вами, –
Годы в сердце осели свинцом...
Исповедуюсь я только маме
И беседую ночью с отцом.

Не в большом позолоченном храме,
А под небом с открытым лицом
Я стою на плацу перед вами
Со стихом, а не с серым свинцом.

Может, стих, опаленный словами,
Вдруг заденет кого-то концом?
Исповедуюсь я только маме
И советуюсь только с отцом.



* * *

Ну и что, если солнце померкнет?
Ну и что, если высохнут реки
И застынет в движении ветер?
Хрупкий миг – и не будет тебя.

Хрупкий миг – и заискрится солнце.
Защечечут сварливые реки.
Время резво помчится по полю.
Будет все, но не будет тебя.



* * *

Устало лето от жары и зноя,
От сладких ягод, солнечных плодов.
Ах кабы к нам пришел Франсиско Гойя,
Он окунулся б в праздничность цветов.

Линяет небо в белой пелерине,
И остывает ветер над рекой.
Гляди-ка, ангел, словно балерина
Летит с небес и машет нам рукой.

Уходит лето, горячо вздыхая,
И, умываясь ласковым дождем,
Расслабилась Земля и отдыхает
До будущих родов.

Мы ждем.

Мы ждем,

Когда снега ее укроют шубой,
А там капель споткнется о крыльцо,
И за весенним половодьем шумным
Проглянет лета юное лицо.



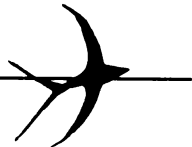
* * *

Тучи пляшут сивые.
Тучи пахнут сливами.
Где ты, небо синее?
Дни плывут плаксивые.

Годы скачут тучами
Над водой и кручами,
Орошая сучьями
Мокрыми и кучными.

Уплывая кучками
Да стадами тучными,
Барабанят ручками
Рыхлыми и скучными.

Время пляшет сивое.
Воздух пахнет сливами.
Были дни спесивые,
Стали ныне сирыми.



* * *

Резки очертания портала.
Четки очертания домов.
На заборах узкого квартала
Стынут тайны дремлющих веков.

Старый порт судьбою покороблен.
Обветшал и поржавел причал.
Рушатся пакгаузов коробки.
И на всем – уныния печать.

А в пяти минутах, недалече,
К небу смело взмыли этажи,
И деревья вскинулись, как свечи,
И спят прохожих витражи.

И машины мчатся, как в угаре,
В завтрашний, еще неясный, день,
Оплетая скрежетом и гарью,
Звуками утробными сирен.

Старый город с молодым не спорит.
Только вот не может он понять,
Почему как неумный спорыш
Тот теснит его за пядью пядь,

Нависая серыми домами,
Расширяясь черной гладью трасс...
Что случится, вопрошает, с нами,
Если прошлое отнять у нас?

Если трактор выкорчует сказку?
Если тол легенду разнесет?
Старый город смотрит с теплой лаской
С вековых загадочных высот.



* * *

Идет на Земле спектакль
Под дивным названьем «Жизнь»,
И время стучит тик-так,
Под гонг обрываясь вниз.

И каждому роль дана
Играть ее только тут.
И хмурится Сатана,
Создателя видя труд.

И хочет кого-то сбить,
Кого-то смести с пути,
Гнездо плутовское свить
У Господа на груди.

А он, режиссер времен,
Вселяет в актеров свет.
Как много в игре имен.
Как мало дается лет.

Да, каждый из нас актер,
И каждый играет роль.
Быть может, один позер,
Другой изливает боль?

Да, каждый приходит в мир
Свою показать игру.
Один как безумный Лир,
Другой как неверный Брут.

И каждый уходит в срок.
Куда?
Да туда. В астрал.
Какой же от пьесы прок,
Коль счастья ты не узнал?

А счастьем цена – пятак.
Оно – временной каприз.
Идет на Земле спектакль
Под кратким названьем «Жизнь».



* * *

Мой старый друг ушел за перевал,
Не сообщив, не проронив ни слова,
И лишь оставил на моем столе
Забывшую курительную трубку.

Забывшую? А может, он ее
Оставил мне как знак какой-то тайны,
Прекрасно понимая, что уже
Не спустится в мой сказочный оазис.

Я набиваю трубку табаком –
И комната томится ароматом
Забывших листьев и заморских трав
И непонятных запредельных мыслей.

Что он нашел за каменной грядой?
Леса в багряном свете иль озера?
Иль бархат огнедышащих пустынь?
Иль океан, простершийся до неба?

Мой старый друг ушел за перевал,
Оставив в трубке ароматы мыслей.
Кто расшифрует их, кто развернет
Как ожидаемую всеми книгу –

Ну что же там,
Ну как же там,
Ну там,
За каменной грядой, за перевалом,

Откуда к нам и реки не текут,
И птицы не летают?

Зона тайны?

Мой старый друг ушел за перевал,
Не сообщив, не проронив ни слова,
Как белый дым.

Ну что ж, придется жить,

Смотря на небо,

в аромате мыслей.

Мой старый друг, а может, ты не прав,
Оставив мне

курительную трубку?



* * *

В палатное окно не заглянул
Ни досточтимый друг, ни верный враг,
Лишь яшень машет шумной головой,
Сгорая от непонятых обид,

Да над листвою стынет неба синь,
Прекрасная холодной синевой,
Да солнце свой роняет поцелуй
Нам всем – друзьям
и недругам моим.

В палатное окно не заглянул
Ни досточтимый друг, ни верный враг,
Как много говорим мы о любви,
Когда ее и свет уже остыл,

И голос сел, и взгляд уже погас,
И от угольев сыплется зола,
И фразы как листья в печи горят,
Хрипя и корчась в золоте огня.



* * *

Кружится, вертится,
Вертится, кружится...
В счастье не верится,
Кое-что сбудется,
Что-то увяжется,
Что-то уложится,
С чем-то не свяжется,
С кем-то не сложится,
Что-то просеется,
Что-то отсеется,
Зло улетучится,
Радость расстелется...
Кружится, вертится,
Вертится, кружится,
Все перемелется,
Все образуется.
Только в душе
Не утихнет метелица.



* * *

Оставайся на Земле. Как травинка на Земле
оставайся.
Утром розовой заре, перламутру облаков
улыбайся.
Уходя в глубинный сон, из загадочных миров
возвращайся.
Оставаясь на скале, как березка на ветру
возмущайся.
Жизнь не поле перейти – говорят среди людей,
сокрушаясь.
Не прислушивайся к ним, обработай
свой надел – эту малость.
Труд и горечью знаком, только ты
сумей найти в нем и сладость.
Если вдруг решишь уйти в край снегов –
не тужи, улыбайся.
Но и даже уходя,
как травинка на Земле оставайся...



* * *

Вы слушали Равеля «Болеро»?
Размеренную поступь каравана,
Шагающего по хребтам пустыни,
И раскаляясь под палящим солнцем,
Наперекор всему и всем на свете
Идущего к своей конечной цели?

Величественно головы задрав,
Вышагивая длинными ногами,
С красивой королевскою осанкой
Плывут по желтым волнам драмадеры
И крупные навывкате глаза
Высматривают нитку горизонта.

Плывут года, века, тысячелетья
Под музыку хрустящего простора,
Под флейту обжигающего ветра,
Покачивая твердыми горбами,
Вплетая звонко в музыку движения
Неслышный, утонувший в горле рев.

Играют мягко трубы и валторны,
И скрипок лес роняет мягко звуки.
Бьют барабаны и литавры в ритме,
Вливая силы в жилы каравана.
Оркестр звучит все радостней, все громче,
Наполненный не яростью, а силой,
Неописуемой словами твердью,
Уверенностью в мощь и силу звука.

Плывут по желтым волнам драмадеры
Через года, века, тысячелетья,
Неся на спинах скопища историй,
Как будто невесомую пылинку.
Вы слышите в ударах барабанов
Мятущуюся поступь поколений,
И в звуках труб призыв к проклятой вере
И торжество победы в четком ритме?
Гремит оркестр.

Гремит.

Гремит мощнее...

Блеснул оазис в золоте пустыни...
Конец пути!

Конец?

А может статья,
Наметит караван другую цель?

Он не устал, он только распалился,
Он в том же ритме может плыть
и дальше.

Вы слушали Равеля «Болеро?».
Послушайте Равеля «Болеро».



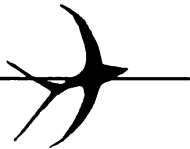
* * *

Пахнет осенью – прелыми листьями,
Пахнет сыростью, мокрым дождем.
Время года с цветастыми листьями,
Не грусти, мы тебя подождем.

Снег накроет вишневыми шальями,
Стаи рыб заскользят подо льдом,
Дни застужат метелями шальями,
Не грусти, мы тебя подождем.

Заискрится капель перед окнами,
Грач заглянет к нам мартовским днем.
Отсыпайся за мокрыми копнами.
Не грусти, мы тебя подождем.

И опять ты осыплешься листьями,
И промокнешь под долгим дождем...
Бог создал тебя с разными лицами,
И такую мы любим и ждем.



* * *

Горит закат. День на исходе.
Резвятся кони на лугу.
Перебирает чьи-то годы
Кукушка на своем суку.

Зарделась тучка над водою,
Как дева юная в соку.
Такой земною красотою
Я насладиться не могу.



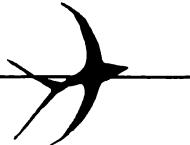
* * *

Что-то стало скучно в нашей жизни, пусто.
Не стучатся в двери ни родня, ни друг.
На столе лежит раздетая капуста
И глаза нещадно щиплет красный лук.

Я снимаю с полки Болеслава Пруста,
А в глазах маячит покоритель Кук.
На столе лежит раздетая капуста
И глаза нещадно щиплет красный лук.

Не желаю Пруста, с ним мне что-то грустно,
Да литературе, чувствую, каюк.
На столе лежит раздетая капуста
И глаза нещадно щиплет красный лук.

Нет в душе желаний, угасают чувства.
Сети безразличия плетет паук.
Только тешит глаз раздетая капуста
И слезу сшибает витаминный лук.



* * *

Я беседую с дождем.
В целом мире мы вдвоем.
Я прошу его раскрыть,
Кто там в поднебесье скрыт.
Только дождь стучит в окно –
В отсыревшее панно.
Я срываю шпингалет –
За стеклом кордебалет:
Ветер, струи, грохот, гром
Бьют меня в лицо ребром.
Я вдыхаю грудью жизнь.
Я вздыхаю, глядя вниз.
А внизу, в ночной глуши,
Пусто, скучно, ни души.
На соседний спящий дом
С неба спрыгивает гром
И спешит, бежит ко мне,
Словно рыцарь на коне...
Я вдыхаю грудью дождь,
Я унять стараюсь дрожь,
Я убить пытаюсь страх,
А за створками – тра-рах...
Я беседую с дождем –
В целом мире мы вдвоем:
– Кто вершит нам всем судьбу?
Подскажи мне, другом будь.
Почему сосед – богач
Прохиндей, скупец и рвач?

Почему мой брат, бедняк,
Дня боится, как червяк?
Много этих почему.
Нет ответа ничему.
За окном шумит вода.
Хлещет мокрая беда.
Может, нас страшит поп?
Нам грозит большой потоп?
Я беседую с дождем.
В целом мире мы вдвоем.
Где ж ты, здоровый человек?
Видно, свой нашел ковчег...

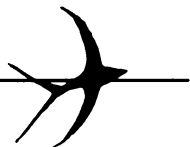


* * *

Я стою на берегу
И гляжу на воду.
Волны глохнут на бегу,
Злятся на погоду

И ложатся на песок
Белой бородою,
И стреляют мне в висок
Чистою слезою.

Мощный гул и чаек крик
Мечутся над морем.
Как прекрасен моря лик
В радости и в горе.



* * *

Не знаю, как долго я спал бы,
Но эта пичужка меня
Вконец разбудила
и встал я
Ее и браня, и кляня.

И вдруг онемел и застыл я,
Открыв в палисадник окно:
Мой мир одинокий, постылый
Весна окатила волной.

И запах земли обновленной,
И запах зеленых ветвей
Ворвались в мой дом,
опаленный
Недоброй любовью твоей.



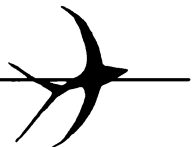
* * *

Настоящее время –
Это тяжкое бремя,
Это выстрелы в темя
Острых мыслей твоих.

Настоящие будни –
Это дьявола плутни,
Это жирные трутни
На ладонях святых.

Настоящее племя –
Это слабое семя.
Это пыльное стремя
Для бойца-лихача.

День и ночь – разных красок,
Пуля – бич звонких касок,
О народах и классах
Не рубите сплеча.



* * *

Ох, как хочется одиночества.
Позабыть имя, отчество,
Наплевать на все ранги, должности,
На условности и возможности.

Ах, как хочется, позабыв о всех,
Побежать босым по цветной росе,
И вдохнуть весь мир, и упасть в траву,
И залечь в цветах во глубоком рву...

Эх, как хочется... Просто мочи нет...
Но в ногах моих стынут гири лет.



* * *

Ты не исполнил ноту соль.
Ты не нашел свою Ассоль.
Ты не искал свой Зурбаган.
Видать, тебе талант не дан.

Мой друг – вчерашний мальчуган –
Смешной, задиристый пацан.
Как ты мечтал в рассвет, в туман
Уйти со мною в океан.

Поднять по ветру паруса
И бросить вызов небесам...
Ах, мой забавный мальчуган,
Ты не нашел свой Зурбаган.

Видать, не дан тебе талант
Любить, бросаться на таран,
Встречать забрезживший рассвет,
Дарить подругам алый цвет.

Исполнить чисто ноту соль...
Позволь, прости меня, позволь,
А может, ты, услышав боль,
Еще найдешь свою Ассоль?



* * *

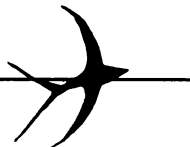
Что-то осталось за синей горой,
Что-то нас ждет за снежной.
Сердце томится осенней порой,
Удали нет в нем прежней.

Время замкнуто в песочных часах,
Не отсечешь, не добавишь.
Взвесишь поступки свои на весах –
В горле комок удавишь.

* * *

Закружился бы, да годы вот не те –
В радости усохли и в беде.
Затянул бы соль, да голос будто сел –
Источила жизни карусель.

Посадил бы сад, да долго ждать плодов,
Не познаю радости трудов.
Улетел бы вдаль, в холодную зарю,
Но давно мечтою не горю.



* * *

В беспосадочный полет
Подготовлен самолет –
От любви до краешка планеты

Ходит, мечется народ –
Дел у всех невпроворот,
Только где ты,
 где ты,
 где ты,
 где ты?

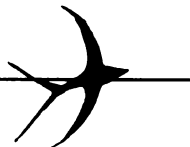
Заработали шасси,
Лайнер катит как такси,
Весело раскручивая скорость.
Может, боже упаси,
Твой «Фиат» бордюр скосил
Или проскочил в чужую волость?

Самолет махнул крылом...
Так тебе и поделом,
Не увидишь майского Парижа,
И каштановых свечей,
И расхристанных ночей,
И большой зари над Сеной рыжей.
Не заглянешь в Сакре-Кер,
Не отведаешь рокфор,
И Пигаль останется мечтою,
И Монмартр, и Монпарнас
Не увидят вместе нас,
Что ты, дура, сделала со мною?

Ты заставила меня
Одного в течение дня
Захлебнуться этой красотой!
Как мальчишка Аладдин
Я хожу-брожу один
С красотой, но только не с тобою

Разве я...
А может быть,
Ты не бросила свой быт
И сидишь одна под сенью леса
У излучины реки,
Где рыбачат рыбаки
И заря жеманится у плеса?

Я стою у Нотр-Дам,
А в глазах замшелый храм,
И душа тоскует:
Где ты,
 где ты?



* * *

В ясном небе отразились купола.
Звоном взвились в синеву колокола.
Расколосось поднебесье пополам.
Раскатились колокольцы тут и там.

Как котенок, прикорнул к груди покой.
Кто-то шепчет: «Душу, Господь, упокой».
А иной: «Всевышний, власти вразуми,
В наших бедах виноваты разве мы?»

Над зеленою землею гладь и тишь.
Только как судьбе капризной угодишь?
То ласкает, то ударит под ребро.
То застонет, то блеснет как серебро.

А земля... Ну что земля? Трава и грязь,
Да осина на лугу, да дуб и вяз,
Да широкая свободная река,
Не подвластная ни воле, ни рукам.

Небо. Небо. Только небо над тобой
Не вступает в сговор с ветреной судьбой,
И, вдыхая звон и трель колоколов,
На счетах выводит ряд твоих годов.



* * *

Как сладка была эта ночь,
А меня что-то гнало прочь –
Не хотел я сидеть в этой роскоши взаперти.

Душу рвал золотой тромбон,
Свет струил голубой плафон,
И на тяжкую голову сыпались конфетти.

Был ли это забавный сон
Или просто душевный стон –
Но за скрипнувшей дверью я, вздрогнув,
пришел в себя.

Свежий ветер шалил с листвою,
Лик свой спрятав во тьме густой,
Как паук, ублажая прохожих
в своих сетях.

Я решительно сделал шаг,
Без обиды, ну просто так,
И незримый мой недруг увел меня
от огня.

А в душе моей пел тромбон,
И светил голубой плафон,
И тоскливая песня стонала,
меня виня...



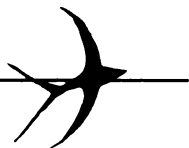
* * *

Клавиши бьются о душу и нервы.
Белые клавиши, черные клавиши.
Белый медведь и клыкастая нерпа
В стужу враги, а под солнцем товарищи.

Музыка плачет, клокочет у горла.
Мечутся звуки, срываясь руладами.
Звери – не люди, не знают укора.
В сытости мирны, а в голоде – ладят ли?

Рушатся звуки, грохочут потоком,
Бурно смывают и накипь, и пакости.
Белых и черных клавиш потоки
Бьются под сердцем и в горе, и в радости.

Белые клавиши, черные клавиши
Бьют молоточками:
 клад ищи,
 клад ищи.



* * *

Убегает назад заревевший перрон.
За окном зацепилось лебяжье перо.
Расставания муки познал и Нерон,
Стон и слезы прощанья глотал и Пьеро

Мысли грустные колет колес перестук.
Скоро чай и печенье тебе принесут,
И под звон музыкальный стеклянных посуд
Пересуды пойдут. Лишь бы только не суд...

Лишь бы только не суд... Как там дышит вокзал,
Что тебя так томил, и держал, и вязал,
Сердце жалостно рвал – ты ведь все осязал,
И страдал, и любовные раны лизал,

И зализывал, словно прирученный пес...
Но измены не снес...



* * *

Человек открыл материки,
В руки взял ружье, лопату, кий,
Но соседу не подал руки...
Так вот и живут, как чужаки.

* * *

Затряслась, задрожала мелодия
На скрипичной струне
И взлетела, как острая молния,
К неизвестной стране.

И великим творцом освященная
В благодатном краю,
Рассыпает пылью золоченою
Боль и радость свою.



* * *

Родиться Христосом иль хриstopродавцем,
Рядиться в волшебники или мерзавцы,
Не все ли равно?
Сегодня ли, завтра, а может, попозже,
В большое ненастье, а то в день погожий
Ты выйдешь в зерно.
Ты выйдешь в зерно – и бессовестный ветер
Развеет тебя по бескрайнему свету.
Ты выйдешь в расход.
И как бы ни жил ты, во что б ни рядился,
Над кем ни глумился, кому б ни молился.
Таков твой исход.



* * *

Еще одна весна исписана
Цветеньем вишен и дождями.
Вся жизнь до ноликов расписана
Бездонным небом и вожжами.

Еще одна весна исписана
И мы вступаем в лоно лета.
А все свершенное расхристано
И светом тьмы, и тьмою света.

Еще одна весна исписана
И остро пахнет синим снегом,
И в фолиант судьбы записана
И наша боль, и наша нега.



* * *

Что там на Марсе? Кто там на Марсе?
Может быть, пары кружатся в вальсе?
Может быть, бьются за правду и честь?
Или друг друга пытаются съесть?

Что там творится на дальнем Плутоне?
Царь объезжает страну в фазтоне?
Маковым цветом пылают поля?
Черным огнем полыхает заря?

Как там живется на нежной Венере?
Верно, с любовью, надеждой и верой?
Что там? И как там? В просторах у них?
Тихо. Двойник мой притих. И утих.

Ну а проснется и спросит опять?
Как мне ответить? Что мне сказать?



* * *

Каждую ночь приплывает ко мне
Солнечный гуру из недр океана.
Он появляется тихо в окне
С ясной улыбкой и цвета шафрана.

Остро и пристально смотрит в меня –
Именно так – в бесприютную душу.
И подливает незримо огня
В жаркую зиму и летнюю стужу.

Гуру, мой гуру, с копною волос
И с неподдельною детской улыбкой –
Он мой подарок и он мой вопрос
В жизни загадочной, сложной и зыбкой.

Каждую ночь подплывает во сне
Друг мой единственный, добрый и верный.
Чтоб не пристали случайно ко мне
Сплетен людских пересуды и скверна.

Каждую ночь приплывает ко мне...



* * *

Ну где ты, брат?
Ну с кем ты, брат?
Вчера я был тебе дороже
И ближе пальца
 во сто крат.
Сегодня – дальше
 во сто крат.

Кому ты рад?
Чему ты рад?
Быть может, на просторах жизни
Нашел ты непомерный клад?
Очнись: он источает хлад.

Все шло на лад.
И вдруг разлад?
Умом блистал как Цезарь юный,
А ныне мыслишь, как Пилат.
Неужто Господь виноват?

Ну кто ты, брат?
Ну что ты, брат?
На кручах времени лихого
Кто твой кумир?
 Кто твой собрат?
Святой, юродивый иль гад?

Ну где ты, брат?
Ну с кем ты, брат?



* * *

Стесняться жесткой честности отцов
Нам не пристало.
Она была для многих наглецов
Прочней кристалла.

Она вела трусливых молодцов
На грохот вала.
Она сшибала лживых мудрецов
И с пьедестала.

Стесняться жесткой честности отцов
Совсем негоже.
Монетой мелкой стали для ловцов,
Увы, мы тоже.

Мы облачились в мантию творцов –
Сидим в рогоже.
Поем не соловьем –

поем скворцом,

О боже!
Нам ли стыдиться честности отцов?

Как полагает совесть
И как ведет судьба.
Она моя и повесть,
Она мне и судья.

Дай руку, жизнь, дай душу,
Еще я на скаку,
Я ем тебя, как грушу
Румяную, в соку.



* * *

В век глупостей,
 глумящихся над нами,
В любое время –
 ночью, поутру,
Спасайте совесть,
 и спасайтесь сами
Великой верой –
 верой в доброту.

В потоке дней,
 залитых грязной ложью,
Распятых, словно в Дантевом аду,
Спасайте честь,
 спасайте кто как может,
Святою верой –
 верой в доброту.

В мороз и в зной,
 в торнадо, в наводнение,
И в час, когда
 казнят твою мечту,
Спасайте человечность,
 хоть на время,
Забытой верой –
 верой в доброту.



* * *

Подражание Ярославу Смелякову

Прелестная женщина Юля
По берегу моря идет
И жаркое солнце июля
В глазах ее теплых поет

Волна обнимает ей ноги
И брызги кидает на грудь
И шепчет неслышно:
«Немного
Со мною в объятьях побудь.

Я гордость твою успокою,
Любовью своей обниму,
А если откажешь – завою
И с бедер лоскут твой сниму».

А женщина Юля смеется
И ножкою бьет по воде
И смех колокольчиком льется
И скачет по синей волне.

И чайки над нею кружатся,
Пытаясь о чем-то спросить,
И небо желает прижаться,
Смахнув шелковистую синь.

Прелестная женщина Юля
По берегу моря идет

И взгляды как вязкие пули
На бедрах высоких несет.

Ей побоку доктор и жулик,
И в похоти скривленный рот...
Прелестная женщина Юля
По краешку моря плывет.



* * *

Глазеть нам было страшно любо.
По тихой бирюзовой глади
Плыла в косынке желтой Люба –
Топаз в искрящемся окладе.

Плыла спокойно, как пушинка,
Без показных телодвижений.
Скользила по воде косынка,
Скрывая женщины скольжение.

Скользила тихо и бесшумно
В ладу с глубокою водою.
Казалось, этой глупой шуткой
Дразнит себя и нас собою.

Дразнит? О нет. Нам так казалось!
Она, рожденная у взморья,
Своею статью наслаждалась,
Укрыв ее под пленкой моря.

Ни взмахов рук, ни ног разводов –
Обычной красочной картинки.
Тугим кольцом сомкнулись воды
Вокруг сатиновой косынки...

Вокруг ни брызг, ни пены белой,
Ни смельчаков сопровожденье.
Лишь море цвета сливы спелой
И солнца в водах отражение.

А нам глазеть так было любо:
По тихой бирюзовой глади
Плыла в косынке желтой Люба –
Топаз в божественном окладе.



* * *

Возьму тебя в свои шальные сны,
Захочешь ты того иль не захочешь,
Ты только успокойся и усни.
А ты безумно сладостно хохочешь.

Возьму тебя в свой запредельный мир,
Раскинем руки – и взлетим над домом.
За окнами – семейный гвалт и пир,
А мы уйдем от этого Содома.

Мы отдадимся воле ярких звезд
И свежего воздушного течения
И унесемся в мир волшебных грез,
В туманный мир вселенского влечения.

Возьму тебя в свои шальные сны,
Своим укурю счастьем и печалью,
От нечисти избавлю до весны
И возвращу к весеннему венчанью...

Ну а пока... возьму в шальные сны.



* * *

Я тоскую –
Я громко токую
В озаренном рассветом лесу.

Я рискую –
Я чувства рисую,
Боль и радость держа на весу.

Я узнаю
Улыбки изнанку
И закрашу в оранжевый цвет.

Я заплачу –
Ведь все мы в оплате
Перед небом с младенческих лет.

Я расстанусь,
Поверь, я останусь
В мире пасмурном гол как сокол.

Белый парус
Умчит меня в старость –
Непреложен природы закон.

И на взгорье
Веселый от горя
Я неслышно свой крест понесу.

Я тоскую –
Я громко токую
В человеческом сером лесу.



* * *

В историю уходят тихо мамонты,
Ступая по тропе своей стеснительно.
Земля не стонет от тяжелой поступи.
И не скорбит. И не ворчит. Лишь глохнет.
И глохнет оттого, что время замерло.
Его ничто под небом не касается.
В историю уходят тихо мамонты,
Планету оставляя резвым зебрам.

* * *

А вода продолжала плескаться
И причал продолжал остывать.
Теплоход с горизонтом сливался
И стеснялся от боли стонать.

Отрывалась от сердца эпоха,
Растворяясь в белесой дали.
Видно, склеили счастье вы плохо,
А подклеить уже не могли.

Отгорала прекрасная вежа,
Умоляя тебя закричать...
А на синей воде, как прореха,
Догорала заката свеча.



* * *

В моем замшелом доме дышит лес
И шепчет мне зеленые слова.
И в зелени пахучей этих слов
Я слышу душу стонущих стволов,
Изрезанных морщинами веков,
И сглаженных потоками дождей,
И высушенных солнечным огнем,
Пробившихся сквозь сеть густых ветвей.
В моем нестаром доме дышит лес
И плачет, и смеется, и ворчит,
Трубит, как лось, угодничая мне,
Неистово токует, как глухарь,
Смущает волчьим воем небеса,
Вдруг невольно залетит соловьем,
Вдруг зашуршит, как мудрая змея,
И замычит, как тысяча волов.

В моем нестаром доме дышит лес.
Березки в пляске руки развели
И косы распустили на ветру,
И песнь поют о свежести своей.
Как легкий зонт боярышник висит
Над высушенной августом землей.
И липы отгоняют от себя
Жужжащий рой насытившихся пчел.

Вот бурелом, а вот медвежий след.
А вон промчался с дикой прытью вепрь.
Колючий еж застыл под бугорком.
Кого-то ждет иль окунул в сон?

В моем нестаром доме дышит лес.
Я стены комнат краскою покрыл
И кистью выводил зеленый мир,
Дарил деревьям часть своей души.
Свое тепло. Свой гнев. Свою любовь.
Свое томленье. Свой извечный зов...
И потому на радость всем друзьям
В моем зеленом доме дышит лес.



* * *

– Ну, здравствуй. Ну, что ты мне скажешь?
Молчит телефон.

– Не молчи.

Быть может, меня ты уважишь?

А рядом стрекочат ручьи

И снег растекается в лужах.

И солнце, как пламя свечи.

– Твой голос, пойми, так мне нужен...

Ворчи хоть иль просто кричи.

А может, ты вспомнила вечер,

Когда вдруг споткнулась в ночи,

И руки, согревшие плечи...

Ты слышишь меня?

Не молчи...

Я резко швыряю мобильник

В усохший, корявый газон,

И он, как холодный могильник,

Глотает немой телефон,

И вдруг, как из черного ада,

Врывается жалобный стон:

– Я слышу,

Я слышу,

Я рада...

Но где же он, мой телефон?

– Я слышу. Я слышу. Я рада.

Мне голос твой нужен. Где он?

Пришла, наконец, мне награда.

Но где мне найти телефон?

Шагнув наудачу на голос,
Я роюсь в земле и в кустах,
В грязи извиваюсь, как полоз,
Ищу, хоть и страшно устал,
Ищу, потому что мне надо,
А в воздухе – сладостный стон.
– Я слышу. Я слышу. Я рада...
И тут разбивается сон.
В окне, освещенном зарею,
Зияет в осколках дыра.
Так кто же мне ранней порою
Мячом угодил со двора?
Так кто остудил мою душу?
И вдруг зазвонил телефон:
– Я слышу, я слышу, я слышу,
Я птицей впорхнула в твой сон.
Что? Мистика?
Или подарок
За муки уплывших годов?
Лучистой любви подранок,
Беречь этот голос готов.

Не год, не столетья, а вечность
На жизненном трудном пути,
И в хаосе яростном Млечном,
И в космоса стылой груди.

– Ну, здравствуй, – я слышу твой голос.
Я слышу твой ласковый стон...
А в окна мои смотрит космос,
Как вымытый солнцем плафон.



* * *

Ты дом построил, всем на зависть дом –
Просторный, светлый, утомленный
солнцем,

И у калитки ясень посадил,
Взметнувшийся ветвями над
забором,

И сына поднял на ноги.
И он
В делах продолжил все твои поступки,
И унаследовал твои повадки
На радость роду, матери, отцу.
Ты сделал то, что должен
сделать муж.

То есть мужчина.
Только вот что гложет:

Ночует под забором старый бомж
И пес голодный рану лапы лижет,
И в мусорном контейнере твоём
Старуха ворошит колючей палкой,
И по разбитой мокрой мостовой
Бредут бродяги, словно пилигримы...

Спускается на дом твой тихо ночь,
Из окон льются звуки фортепьяно.
И люди уползают в вязкий сон
Под музыку забавного Вивальди.



* * *

К нам движется безмолвный астероид.
К нам близится вселенская беда.
Чудовище, невидимое глазу,
Рожденное, возвращенное во мгле
Из маленькой, космической пылинки,
Невидимого мрачного тепла,
Несется в странном и безмолвном ритме
В объятья замерзающей Земли...
Что зацветало – растворится в вихре,
Что создано – все превратится
в прах,

И будут в плаче двигаться
планеты,

Окутанные в темные платки.
Но где же тот космический правитель,
Создавший наш небесный хоровод?
Неужто он смирится с Азazelой,
Хохочущим над детищем Творца?
Земле конец? Планета издыхает?
Глядит из-за угла Помпеев день?
Летит, летит космическая
гадость.

Летит беда.
Но... не страшит меня.
Меня смущает астероид мысли,
Врезающийся человеку в мозг.
Меня пугает астероид слова,
Взрывающий горячие сердца.

Меня тревожат астероид взгляда,
Испепеляющий росток добра.
Меня смущает, ранит, угнетает
Безумный, жадный астероид зла.
Он на Земле, за локтем, за плечами,
Идет мне вслед как пилигрим, как тень,
В любой момент готовый исковеркать,
Испепелить безжалостной рукой...
Гляди, гляди, шипящий астероид
Сидит смиренно у моих колен...
А мы кричим: к нам мчится астероид...
А Азазела рядом.

Вот он.

Здесь.



Кого в апостолы запишешь?
Кому доверишься душой?
В какой толпе судьбу
 отыщешь?
Как угадаешь – свой,
 не свой?

Смешалось все в круговороте
Лихих разнузданных времен,
И замерли на повороте
Событий полчища племен.

Ждут не дождутся взгляда,
 жеста,
Замаха вскинутой руки...
Но в этом мире нету места
Вождам: волненья не с руки.

Мир чистогана, мир наживы
Сверлит, буравит, топчет
 мозг.
– Война дворцам? Да быть бы живу...
Кто так подумать прежде мог?

Кого в апостолы запишешь?
Кому доверишься душой?
В наскальных надписях отыщешь
Через столетья голос свой.



* * *

И завьюжил долгожданный снег,
Расплескав холодный свет над
городом.

На столе, накрытом марлей, снедь,
Вся заиндевелая от холода.

Под фанерным синим потолком
Абажур окраса золотистого
И мальчишка колет молотком
То ль орех, а то ль макуху истово.

Год проходит, а другой стучит
Мерзлым пальцем
об окно хрустальное.

Самовар, натужившись, урчит,
Будто воет песню эпохальную...

О минувшем не люблю тужить,
Но картины в броском стиле граффити
Выползают тихо, как ужи,
Из хранилищ неуснувшей памяти.



* * *

Ну что такое?
Строки льются с неба.
Из космоса. От друга моего.
В них запах пота и ржаного хлеба.
Неужто кто-то пашет там бороздку
У призрачного замка своего?

А я дышу. Страдаю. Сострадаю.
Чужую боль своею выдаю.
Чужое сердце как свое глотаю,
Укладываю за щемящей грудью
И радость ритмов щедро раздаю.

А я пою. И если эти песни
Тоскою пахнут,
 болью отдают,
Не я пишу их в кабинете тесном –
Они слетают вниз из стратосферы,
Где похвалу и честь не продают.

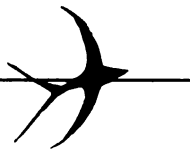
Где нет ни злата, ни вражды, ни мести,
Где не в чести бесплодный гвалт
 и шум,
Где все в покое в первозданном блеске,
Не оскверненном пылью, тьмой, обманом...
И строки льются с неба.

 Я пишу.
Ну что такое? Почему пишу?



* * *

Я в этом мироздании один.
Я не брюнет, не рыжий, не блондин.
Я, как и малый слабый Аладдин,
Ищу страну с весенним
утром росным.
Бросаю слово в этот странный мир,
Где не в чести ни враг наш, ни кумир,
Где не понятен уху мой клавир,
Где чувство и поступок стали
постны,
Как постное растительное масло,
В котором солнце жгучее
погасло.



* * *

Если б я знал, что увижу звезду,
Я бы умчался в глубины вселенной.
Рядом дышу. Рядом иду
С этой ожившей богиней Еленой.

В сердце смеется звонко капель
Над несмысленным мальчишкой
вихрастым.
Снег за окном, а не теплый
апрель,
В жарком камине тускнеют
дровишки...
Если б я знал, что увижу звезду –
Всем существом
я отвел бы беду.



* * *

Что мне делать с тобой?
Что мне делать с собой?
Убежать? Улететь? Утопиться?
Мысли бьются гурьбой,
 словно рвутся на бой.
Может, с серыми тучами слиться
И разлиться дождями на край
 луговой,
Чтобы выстелить тропы цветами?
Что мне делать с тобой?
Что мне делать с собой?
Может, выкрасить сердце
 рубцами?
Что мне делать с собой?
Я болею тобой...
Что мне делать с собой...



* * *

Разве я знал,
Что выйдет все так
 глупо?
Время стучит
 тик-так, тик-так
 тупо.
Время уносит
 тебя и меня
 в дали.
Солнце луной,
 лучами звеня,
 станет.
Солнце луной,
 лучами звеня,
 станет.
Сердце от дум
 и печали однажды
 устанет.
Разве я знал,
 что выйдет все так
 глупо?
Жизнь заплатила
 скромно, стыдась,
 скупю.



* * *

Уходи из памяти моей.
Улетай куда-нибудь подальше.
Мною не томись и не болей.
Стерегись в любви вечерней
фальши.

Дай-то бог на солнечных полях,
Или в ясном небе под луною,
Или в неизведанных краях
Вдруг забыться в сладких грезах
МНОЮ.



* * *

Маюсь. С чего? Не знаю.
Что-то случилось в душе.
Вслед журавлиной стае
Взгляд не бросаю уже.

Сеть золотой паутины
Прежде ласкал мой взор,
Кажется все мне рутиной.
Слышится всюду укор.

Маюсь. И не понимаю,
Что мне вещает сон.
Ведь я родился не в мае,
А в ноябре – скорпион.

Вечно себя угнетаю.
В битве с собой восстаю.
Прошное не проклинаю.
Будущее не пою.

Маюсь. С чего бы? Скажи мне.
В горле вопрос, как кость:
Я в этом мире сожитель,
Или, быть может, гость?

Все увидал, все услышал?
Миру себя показал?
И с головою поникшей
Тихо иду на вокзал?

Маюсь. С чего? Не знаю.
Все опостылело мне...
Глянь-ка, на небе, с краю.
Или то кажется мне?

Боже, душою млею.
Там, в голубой тишине,
Дивное диво белеет –
Лебедь плывет в вышине.



* * *

Где затерял я кольцо золотое?
С кем потерял я лицо молодое?
Змейкой по лбу заструились морщины.
Скучно смотрю на смятенье лучины.

Дремлет мой сад в окружении леса,
Мягко объятый ночью завесой.
Сыро и глухо. Луна истончилась.
Что-то и на небе с кем-то случилось?

Пляшет, злорадствует свет от лучины:
– Эх ты, мужчина, гложет кручина?
Завтра грачи загалдят на дворе,
Плюнь на морщины. Доверься заре.

Нет, не найду я кольцо золотое.
Выкую,
 Высвечу чувством другое,
Из золотой и лучистой зари.
Только...

 Кому мне его подарить?



* * *

Мне в этот вечер плакать
хочется.

И сам не знаю, почему.
Слетала с ветки тихо горлица.
Быть может, к другу своему?

Звезда упала за околицей.
С какою целью? И к кому?
В груди и мается, и колется...
Как больно сердцу моему.

Как одиночества мне хочется
И быть ненужным никому:
Взлететь в порыве в небо
кречетом
И рухнуть камнем.
Но к чему?

Нужна ли эта жертва глупая
Тебе
и богу моему?
А мысль стучится,
мыслить хочется,
И сам не знаю,
почему...



* * *

Все отгорело –
Взгляды, расставанья.
Простерлись гулко
В небе расстоянья,
И на краю распаренного шара
Тускнеют угли бывшего пожара.

Земля скулит от тщетного старанья
Скрыть от людей душевные страданья.
И чувства цвета яркого опала
За горизонт безропотно
упали.

Все отгорело.
Да, костры зажгутся,
Но вряд ли краски прежние вернутся.

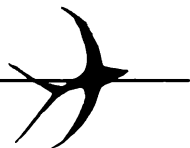


* * *

Нам бывает и грустно, и тягостно.
Кровь взыграет – и врежешь кому.
Сердце взбрыкнет неожиданно и
яростно,
Словно мина тряхнула корму.

Но плывет потихоньку посудина
По высокой и чистой воде.
Что осталось изведать по сути нам?
Что открыть?
Что познать?
Да и где?

Руки пахнут металлом и порохом,
Воздух вымаран терпкой
золой,
За углом слышим странные
шорохи.
Что ползет за тобой
и за мной?
Да, теперь нам и грустно,
и тягостно,
В дверь не стукнет непрошенный
друг.
Журавли покидают нас
радостно.
А вернутся ль на заданный
круг?



* * *

Почему в моем сердце так много тоски?
Разве может иначе?
По степи, что ровнее гладильной доски,
Конь невзнузданный скачет.

Он не знает ни окрика и ни камчи,
Ни безрадостной шпоры.
Он от радости ржет, ржет и днем, и в ночи,
Скинув с глаз своих шоры.

Скачет конь вороной,
Скачет конь озорной,
Ржаньем мир оглашая...
Год из жизни ушел, распрощавшись
со мной,
Год тяжелый и шалый.

Ускакал от меня,
Словно в чем-то вина,
В чем – не знаю.
И непрошенный шмель и жужжа, и звеня,
Грудь мне сладко пронзает...



Всем хороша – и голосом, и статью,
И дивным взглядом бирюзовых глаз,
Но не могу, как ни стараюсь,
в страсти
Нарисовать ни профиль,
ни анфас.

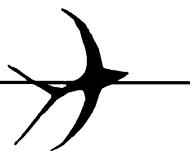


* * *

Были встречи. Но пройдет и эта,
Врезав в память яркое тавро.
На закате солнечного лета
Я теряю милое добро.

Голос, взгляд и перезвоны смеха –
В бурном мире это все старо,
Но в моей сумбурной жизни –
веха.
Только мне не по душе тавро.

Твой уход мне разум не отравит.
Где ты будешь, с кем –
мне все равно.
Я сумею образ твой оправить
В дорогое с блеском серебро.



* * *

Милый мой человек,
затерялся ты где-то в груди.
Мне тебя не найти.
Ты нашел свой приют
и другого не ищешь пути.
Мне тебя не найти.
Если ты заболеешь
и надо бы срочно спасти,
Мне тебя не найти.
Ни цыганку, ни бога
ничем не смогу утешить,
Мне тебя не найти.
Даже в памяти крепкой,
которой бахвалюсь всегда,
Мне тебя не найти,
Потому что сгорели все краски,
как в топке руда.
Мне тебя не найти.
Так и будешь ты жить
малой клеточкой в страстной груди,
Потому что сама ты
другого не ищешь пути.



* * *

За глухою стеной
кто-то плачет навзрыд.
За курганом могильник
волками разрыт.
Травы бьются о ноги
холодной росой.
По стерне пробежался
мальчишка босой.
В нежной сладкой груди
тяжкий стон онемел.
Я не смел подойти,
я не смел, я не смел.
Я глядел и страдал,
я все думал и ждал,
А тем временем тысячи,
тысячи жал
Все впивались в меня,
и кляня, и виня...
Мне не жалко себя,
ну, а может, и жаль,
Что судьбу я свою
так безумно предал...



* * *

Не хочется ни думать, ни мечтать,
И в женские глаза глядеть не хочется.
Легла на сердце жесткая печать –
В груди двойник мой и скулит, и корчится.

Туман окутал благородный лес
И мелкий дождь как шалый малый
носится,
И я во власти непогоды весь.
И мой двойник с моей душою корчится.

Туман сочится легкой сетью вниз
И в душу, безпризорный, нагло
просится...
Так осень проявляет свой каприз.
А мой двойник любовью тихой
корчится.



* * *

Хочу!

и никаких гвоздей –
Сказал бы Маяковский.
А я пришел к тебе поздней
И просто никаковский.

Пишу – пою, пою – пишу,
Хочу от женщин ласки,
Но имена,
их верный шут,
Не предаю огласке.

В них друга вижу, а не плоть,
Звезду, а не забаву,
Природы первородный плод
И просто,
просто бабу.



* * *

Дожди,
Дожди,
Дожди...
Тепла уже не жди.
Года,
Года,
Года
Сочатся, как вода.
Езда,
Езда,
Езда...
Вся жизнь на поездах
И с ночи до утра,
Как червь, грызет хандра.

Гроза,
Гроза,
Гроза...
В глазах – твои глаза.
Слеза,
Слеза,
Слеза,
Как божья роса.
Поток,
Поток,
Поток,
Крушит мой мир потоп.

И как на лодке «Ра»
Несет меня хандра.
Тоска,
Тоска в груди,
Ее ты не мути.
Пусть перезреет плод –
Сам сок его взорвет,
Ну а пока – беда,
И солнца не видать,
И с ночи до утра
Грызет меня хандра.



* * *

Слезы осени стучатся в зонт.
Ветер рвет его как мальчик шалый.
Ощущаю снежный горизонт
И мороз свирепый, небывалый.

Блики лета в памяти моей
Словно краски на холстах Гогена.
А в душе, уставшей от ночей,
Слышится мелодия Шопена.

Незаметно осень подошла,
Прикорнула тихо
и, зевая
И швыряясь красками,
пошла
На покой,
бесстыдно раздеваясь.



* * *

Опять пришла заплаканная осень,
И, сбросив с кленов бронзовые латы,
Стучит в окно и просится погреться –
Ей зябко, сыро под слезливым небом.

Ей помнится оранжевый сентябрь
С оранжевыми сочными плодами,
С оранжевыми яркими цветами,
С оранжевым спокойным тихим солнцем.

Ей помнится... А на дворе ноябрь,
И тучи катят серыми валами,
Скрывая небо от людского глаза,
Пугая ночью громовым раскатом.

Безумно скверно, грустно, неуютно.
К камину бы, а если нет камина,
Да и в душе твоей остыло лето
И вылинял уже цвет апельсина,

Куда податься, брат, к воспоминаньям?
Но есть ли прок? Они лишь калька жизни.
Пустое эхо. Тень твоих деяний...
Опять пришла заплаканная осень.

Я отворяю плачущие окна
И подставляю лоб и губы струям.
И, глубоко вдыхая влажный воздух,
Включаю ржавый старый калорифер:
– Не обессудь, зайди погреться, осень.



* * *

Валится,
Валится,
Валится
Солнце за тонкую линию.
Кромка небесная жарится.
Краска изжевана синяя.

Небо тускнеет и хмурится.
День остывает от марева.
Звезды холодные жмурятся,
Плавающая в красочном вареве.

Солнце скатилось за линию.
Там, на чужой территории,
Утро встает цвета лилии
Над незнакомой факторией.

Утро, как дева, румянится
И осыпается золотом.
Солнце смеется
и валится
Снова за линией колотой.

Плавная планета вращается,
Обогревая все стороны.
В плавном вращении мается
И оглашает нас стонами.



* * *

Ты говоришь, что мир уже устал.
Но день и ночь крошит зерно дастар
И из муки в тандырах и печах
Пекут хлеба при праздничных свечах.

Горят года от солнечных лучей,
Не вызывая жалости ничьей,
Но лут цветет и пламенеет мак,
И чашу пьют и умный, и дурак.

Глядим в ночи на мертвый лик луны
И ищем в небе страстный зов струны,
Тот страстный зов, что услышал Икар...
Жизнь – коротка, но мир еще не стар.

Нам унывать богами не дано,
Хоть мы и гости на Земле давно.
Не говори, что мир уже устал.
Ты слышишь, как крошит зерно дастар?



* * *

Запорошит ночную землю снег,
А утром в вихре закружатся хлопья,
И сине-белый саван скроет грязь
И запеченные на солнце листья.
И яркий свет окутает твой мир
И омрачит до слепоты, до боли...
Как ты любима, колкая зима,
И как коварна жестокою любовью.
Запорошит ночную землю снег
И в полосе белесой и холодной
Всплывет из дали твой прозрачный лик,
Охолодит мой дом, тобой забытый,
И так же неожиданно уйдет,
Но, уходя в неведомые дали,
На Млечный Путь или в объятья Льва,
Оставит мне кристалл немого взгляда.
Ты чувствуешь его? Вот он, гляди, –
Лежит у сердца маленьким котенком.



* * *

Я слеза, ты слеза
В этом странном мирозданье.
Кто-то выплакал нас
и забыл отправить в рай.
Нас обходят с тобой
все ненастья и страданья.
Может, ангелы мы?
Ты не знаешь?
Вот и знай.
Я звезда, ты звезда,
меркнем под луной холодной.
Грея души людей,
замерзаем мы с тобой.
В мире этом земном
кто-то сытый, кто голодный.
Видно, думать за всех
суждено самой судьбой.
Я душа, ты душа,
нам вменили очень много.
Только мокнут глаза
да хрустят в коленях ноги.



* * *

Я не я. Ты не ты.
Мы с тобою бестелесны.
В этом мире вязком, тесном
Сбились с ровного пути.

Где наш тихий причал,
Где могли бы мы причалить,
Ты забыла б про печали,
Я забыл бы, как кричал...

Сколько было дорог
В ямах, рывинах разбитых,
Но всегда, хоть и побитый,
Возвращался на порог.

А за дверью немой
Спорил свет с молочной пенкой,
И портрет висел на стенке
В белой рамке, но не мой.

Долго мучил вопрос:
Кто он, отрок длиннолицый
С воспаленным взглядом чистым,
Может, мученик Христос?

Словно четки мои,
Отстучали тихо годы,

В суе не понял –
кто ты?
А теперь – к чему молить?

Я не я. Ты не ты.
Для вселенной мы безвестны
И в огромном мире
тесном
Сбились с верного пути.



Обниму тебя за плечи
И прильну к твоим устам.
К черту выпренье речи
В можжевеловых кустах.



* * *

Я разуверился во всем:
В тебе, в себе, в пути своем,
В соседе, в друге.

Только мать
Сумела бы меня понять,
Откуда эта маета.
Быть может, жизнь уже не та,
Не та, которой жили мы, –
Без суеты, без кутерьмы,
Без лести, подлости, вранья...
Ищу себя, себя браня,
За то, что веру растерял,
Тебя в себе не отстоял.



★ ★ ★

Пред именем твоим я встану на колени,
Полузакрыв глаза, увижу образ твой.
Не криком, не мольбой, не хрипом,
не томленьем –
Душою заглушу протяжный волчий вой.
Пред именем твоим уткнусь в свои
ладони
И, словно снежный ком, растаю от
тоски.
Кто моря не видал,
тот в море не утонет.
Кто сердцем не любил,
не прохрипит: «Прости».



* * *

Мне б купить зеленый остров
Где-то в Тихом океане,
Где всегда смеется солнце
И синеют небеса,
И без пафоса, так просто,
Пригласить тебя на ужин,
Что сготовит таитянка
В ярком броском кимоно.
Я не жду ни слов, ни вздохов,
Ни проклятий, ни дознаний,
Сядем тихо, как родные,
Прислонив плечо к плечу,
И уставимся глазами
На багровый диск заката,
Что кончает жизнь в угаре
Дикой страсти и любви.
Мне б купить зеленый остров
Где-то в Тихом океане.
Только, видишь ли, родная,
Мне его не продадут.
Не из тех я олигархов,
Что сегодня правят миром,
Что трясут своей мошной,
Разум златом затопив.
У меня карман дырявый,
И душа моя с надрывом,
И холодный трезвый разум
Заплетает страсть в узду.

Ну а мой зеленый остров
Где-то в Тихом океане,
Обдуваемый ветрами,
Тихо нежится в груди.
Там, в груди, где нет ни злобы,
Ни напыщенных мужланов ...
Только солнце, только пальмы...
Если хочешь, заходи.



* * *

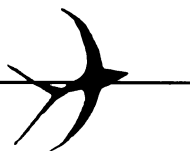
Как ты живешь там, на Севере дальнем
В синих снегах?
Батюшке каешься в исповедальне
В липких грехах?

Грешны мы все, что неистово любим
Солнце и снег.
Славим, не веруя, верность
И губим свой оберег.

В белых снегах и песках опаленных
Ищем свой крест.
Правду желаем узнать воспаленную,
Только не лезть.

Пламя любви и ломающий холод,
Только не стон.
Жизнью зыбучею страшно расколот
Наш камертон.

Как ты живешь там, в безмолвии снежном,
В липких мечтах?
Не заплутала ли в поле безбрежном
В сладких грехах?



* * *

Я в строку вплетаю состраданье.
Я в слова вплетаю доброту.
К жизни я стремился на свиданье
Как влюбленный в сладостном бреду.

И познав годов своих метанья,
Острый вкус небес в своем поту,
В теплый взгляд вплетаю состраданье,
В жесткий жест вплетаю доброту.

В бесконечной вечности исканий,
Сея зерна мыслей в суету,
На судьбу гляжу я с состраданием,
Рассыпая тихо доброту.

Может, внук мой на планете дальней,
Обратившись взором в темноту,
Вспомнит трудный путь мой с состраданием
И оценит тихо доброту.



* * *

Хотя бы две строки на память вам
Я с журавлями скоро передам,
Когда они, почувствовав тепло,
Подставят мне услужливо крыло.

И в синеву небес, как черный бриг,
Роняя в пустоту печальный крик,
Умчатся скользко, соблюдая строй,
С моею нераспаханной душой.

Сквозь этот гвалт и хаос, и бедлам
Хотя бы две строки вам передам,

А там...
Ну что случиться может там?
Судить о нашем времени не нам.



* * *

Я шут. Я жалкий шут. Я тот, кому король
Позволил говорить одну лишь правду.
Для знати и двора вхожу я шумно в роль,
Швыряя за тирадою тираду.

Позволено лишь мне смотреть врагу в глаза
И истину выплескивать в кривляньи
А в горле бьется ком и жжет глаза слеза.
Мне роль дана для самоистязанья.

Я шут. Мне б осмеять правленье короля!
Но кто после меня блеснет в моих ролях?



* * *

В закрытой клетке сердце мечется –
На миг боится прикорнуть.
Оно в метаньях тихих лечится.
Не дай Господь ему уснуть.

Комочек красный, неприкаянный,
Вместил в себя огромный свет.
Он, болями вселенной раненный,
Подарен нам на сотни лет.

Но сотни лет я вряд ли вытяну,
Когда вокруг такой бедлам...
Вот девяносто с гаком, видимо,
Мне обещает ангел сам.

И ставит четкие условия:
Беречь и нервы, и покой.
Но я из грубого сословия –
За слабого бросаюсь в бой.

И пульс колотится и мечется,
И сердцу тяжело вздохнуть...
Оно в борьбе с собою лечится.
Не дай Господь ему уснуть.



* * *

Каждый день.
Каждый час.
Каждый миг
Ложью сладкой,
 обманом расхристанный,
Сердца слышу
 заглушённый крик:
– Где живет,
Где скрывается истина?

Отбиваясь от жадной толпы,
Вырываясь из фальши неистово,
Уходя с проторенной тропы,
Я бреду к этой призрачной истине.

– Подскажите, где скрыта она, –
Я кричу.
 Вторит громко мне колокол.
А в окно мне
 смеется луна,
Уползая за рыхлое облако.



* * *

В левой руке весло.
В правой руке весло.
Левую ногу свело.
Правую занесло.

Весла бросаю назад.
Спину сгибаю назад.
Лодку веду на накат –
Он моей радости рад.

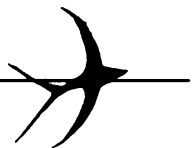
Он не уступит мне.
Я не прогнусь перед ним.
Жарко как в страшном сне.
Будто в огне горим.

Весла тяну из вод.
Сам выгибаюсь как кот.
А надо мною – вал.
Нет. Я еще не устал.

Бешеный гул и вой.
Бешеный спор и бой.
Кто же уступит кому?
Вал задирает корму.

И подо мной – провал.
Нет, я еще не упал.
Я под напором встал.
Я от борьбы восстал.

В левой руке весло.
В правой руке весло.
Лодку веду на накат.
Он моей ярости рад.



* * *

О себе, о времени, о жизни
Сдуру я хотел придумать песню.
Но слова на клавишах зависли –
Им в куплетах оказалось тесно.

Я хотел о хитростях всевластья
Настрочить хоть малую поэму...
Только сердцу не хватило страсти,
Да заботы заглушили тему.

Мы приходим в этот мир невольно,
Удивляясь солнцу и закатам,
И, распутывая годы с болью,
Вопрошаем:
– Что же там, за кадром?



* * *

Как мне нравится смех твой раскатистый,
Будто тешишь меня бубенцами.
Годы под гору весело катятся
Беззаботными сорванцами.

Как мне нравится образ твой матовый
В темном сне, в ореоле прозрачном.
Годы бьются железными латами,
Рассыпаясь на хрупкие части.

Осыпается время и мается,
Покрывая все светлыми бликами,
И грачи в сюртуки одеваются,
Заливаясь тревожными криками.



* * *

Поджидаем.
Чего-то ожидаем.
Прилетаем.
И снова улетаем.
Убегаем.
Мы время ускоряем.
И не знаем,
Что годы убиваем.

Провожаем.
Мы руки пожимаем.
Привечаем.
За плечи обнимаем.
Забываем.
Путь к сердцу запираем.
И страдаем.
Как птицы замираем.

Засыпаем.
Мы молодость листаем.
Выпадаем
Из утомленной стаи.
Замираем.
Мы вязко тихо таем.
Убываем,
С земным прощаясь раем.



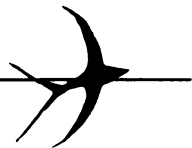
* * *

Не торопи меня признать свои года.
Ты помнишь яркий день в моем саду, когда
Я для тебя сорвал надтреснутый гранат,
И зерна были в нем сочнее во сто крат,
Чем самый сочный сок. Я счастлив был и рад.

Не торопи меня признать свои года.
В серебряном ручье века бежит вода,
Как горная слюда, божественно чиста...
Мне б жизнь свою начать как с чистого листа,
Но цифрам на часах не поменять места.

Не торопи меня признать свои года.
Но если в нужный час – бывает иногда –
Над морем голубым светило не взойдет,
И если лунный лик нам тьму не разведет, –
Свечой своей души избавлю от невзгод.

Не торопи меня признать свои года.



* * *

Благодарю тебя безмолвно, жизнь,
Что ты бредешь, на время опершись,
И глядя вдаль уже подслеповато,
И вспоминая юность воровато,
Не собираешься стреножить свой каприз.

* * *

Что только не болит у человека
За сорок лет от головы до пят.
Видать, уже кончается опека
И ангелы сном праведников спят.

И метит хворь и честного, и шельму,
И нам в глаза глядят из пустоты
Сквозь скрытые космические щели
Несбывшиеся в юности мечты.



* * *

А может, ты еще вернешься,
Моя украденная юность?
Теплом, упругостью коснешься,
О чем прошу!
Какая глупость!

Растаяла в вишневом снеге,
В пожаре макового поля,
В задорном жеребячем беге,
С судьбой, с мечтой, с годами споря...

Но, может, ты еще вернешься?
С лукавым взглядом оглянешься?
Ну хоть присвистнешь? Подмигнешь?
И уведешь в густую рожь?

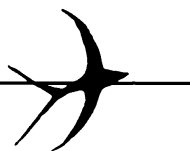


* * *

Оранжевые спины гнут хлеба
И волны пахнут рожью и пшеницей,
И в небе, где свершается судьба,
Полощутся задорные зарницы.

Луга, поля, долины, дальний лес
И воздух – все в прозрачной позолоте.
И юркие стрижи из-под небес
Зовут друг друга в свадебном полете.

Какая ширь! Какая благодать!
Какие краски дарит нам погода!
А мы, браня и белый свет, и мать,
Все норовим еще чего урвать
Из кладовой безропотной природы.



* * *

Догорает закат над Каспием,
Волны стынут и жмутся к берегу.
Краски гаснут. Позвольте, разве я
Впал в истерику?

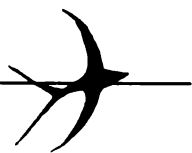
С кленов листья сыпятся мертвые
И ложатся гурьбой как мумии,
И деревья кажутся метлами...
Я засыпан думами.

Утомленное солнце зажмурилось
И скатилось к неизвестной плоскости.
Жизнь смеялась и вдруг нахмурилась,
В душу брызнув колкости.

Были годы окраской разные.
Славил я тоску и патетику.
Краски гаснут. Простите, разве я
Впал в истерику?



ДОЛГАЯ
ДОРОГА
К ИСТИНЕ



Почему я начинаю свое повествование с притчи?

Бытует мнение, что литератор подбирает притчу или сказку как своего рода зачин к своей работе, или, если так можно выразиться, как морализующее кредо.

Мы с вами еще не забыли (да и вряд ли наше поколение забудет) слова А. Пушкина: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Да вот только Александр Сергеевич, как мне сегодня, по истечении долгих насыщенных лет, кажется слегка слукавил: сказка все-таки не ложь, а художественный вымысел, красивая, фантастическая выдумка, вобравшая в себя и выражающая задумку, идею литератора. Так вот, если принять во внимание такую трактовку, можно сказать, что сказка (или притча) – выдумка, да в ней мораль.

А что такое мораль, как ее понимать и воспринимать, вы и без моих пояснений и рассуждений прекрасно знаете.

Итак, более полувека в пути. Более пятидесяти лет. Какие они были – тяжелые или радостные, легкие или опасные, успешные или пустые, заметные или незаметные – об этом и будет мое повествование.

Я долго мучился вопросом: изложить на бумаге, исповедоваться или задушить в душе и вычеркнуть из памяти годы своей жизни, отданные журналистике, стереть картины былых счастливых дней и часов, незабываемые встречи и беседы, удивительно благородные лица, теплые взгляды и мрачные демонические выражения... Чего только не было за эти полвека, каких только знакомств, столкновений, поисков, споров...

Более полувека... это же надо!

Как-то накануне семидесятипятилетия Расула Гамзатова мы сидели в его доме и вели беседу. На мой вопрос: «Семьдесят пять лет для мужчины – это много или мало?» он, мудрый горец, с улыбкой взглянул на меня: «Это как семьдесят пять рублей: для богатого – мелочь, а для нищего – целое состояние».

Вот и думаю сейчас, что бы он сказал о моих годах в журналистике. Хочется думать, что незабвенный Расул ответил бы следующими словами:

«Пятьдесят лет – это как пятьдесят крутых ступеней. Тому, кто любит взбираться вверх и знает, как надо взбираться – этого мало. А тому, кто не ведает радости от подъема и к тому же ленив – ох как много».

Да простит меня мудрый Расул за то, что я решил высказаться за него, но уверен, больше чем уверен, что он сказал бы так. Кто, как не он, знал цену жизни, цену труду, цену профессии, данной небесами, и цену бездумно потерянным годам.

2

4 июля 1960 года. Восемь часов утра.

Именно в этот час, день и год я переступил порог редакции республиканской газеты «Комсомолец Дагестана».

Размещалась она в ту пору на улице Буйнакского, 9, в здании обкома комсомола на втором этаже. По правую сторону лестницы кабинеты занимали комсомольские работники, по левую – журналисты. До этого редакция располагалась на улице Леваневского, 4, напротив городского сада, и ютилась в нескольких комнатах.

Приход мой в редакцию был, скажу откровенно, незамечен. Меня не представили коллективу, поскольку мы все были уже знакомы: я несколько лет посещал литературное объединение при редакции.

Здесь работали уже известные в республике журналисты – Лев Меламедов, Герейхан Палчаев, Борис Матвеев, Лора Смирнова, потом при мне пришли Генрих Рашевский, ставший впоследствии известным спортивным корреспондентом, Альберт Гусейнов – будущий чемпион Дагестана по шахматам. Газету возглавлял Феликс Астратьянц.

Мне указали на стол, за которым я должен сидеть, дали несколько авторских материалов на редактирование, то есть на литературную правку... и начались мои будни. Я ощущал на себе взгляды коллег: и удивленные, и вопрошающие, и выжидательные (а ну-ка, что там нагородишь), чувствовал подспудно, что они ждут моего обращения за помощью, но, увы, я не оправдал их ожиданий. Я самостоятельно правил авторские материалы изо дня в день, из недели в неделю, бывало, переписывал на чистые листы заново, и они публиковались в газете под авторскими фамилиями.

В глазах журналистов читалось уже уважение, а в отношениях даже и признание меня как коллеги.

Провал не состоялся. Да и не мог состояться, потому что газетная работа мне была знакома, а с литературным русским языком я дружил еще с детства, точнее со школьных лет.

3

Детство и юность мои прошли в Баку. После окончания войны отца перевели служить в Баку, и наша маленькая семья, все четыре года военного лихолетья находившаяся на попечении маминых родителей в Дербенте, переехала в незнакомый мне город.

Баку был красивым, уютным, теплым городом. Интернациональным. Он притягивал к себе теплой, доброй аурой. Само собой разумеется, что основную часть населения города составляли азербайджанцы – бакинцы. Если можно так выразиться – белая кость,

особая каста – образованная, толерантная, совестливая. Здесь уютно чувствовала себя довольно большая армянская община, заселявшая значительную территорию города, которая называлась эрменикент, уютно чувствовали себя русские, которые пользовались большим уважением, украинцы, татары, персы (иранцы), евреи, таты мусульманского и иудейского вероисповеданий, лезгины. Разговоры о том, кто какой национальности и какого вероисповедания, не велись вообще. Им не было места. Все уважительно относились друг к другу. Знали, кто есть кто, и жили как братья. Хозяйка небольшого двора, у которой мы снимали квартиру – комнату с коридором, старая коренная бакинка Сейидханум моего отца с первого дня знакомства звала Миша-гардаш, а другого квартиросъемщика, армянина по национальности, – Вартан-джан.

Район, в котором мы жили, был на удивление экзотичен. Наша улица, носившая имя Папанина, была одноэтажная, вся нашпигованная шерсточесальными мастерскими, керосиновыми лавками, булочными... Напротив высилось белое здание булочно-кондитерского комбината, который занимал огромный квадрат квартала. В конце квартала, через дорогу, в ста метрах от нашего дома располагался большой продуктовый рынок, то бишь базар, называвшийся кюмюр-мейданы (что в переводе означает угольная площадь). Двумя кварталами выше от кюмюр-мейданы на огромнейшем пустыре привольно раскинулся вещевого рынок, который получил неизвестно от кого и в какую пору романтическое название – кубинка. Он располагался вдоль дороги, которая вела из Баку на Кубу, крупный районный центр Азербайджана. И что только здесь ни предлагали и ни покупали – от иголки до верблюда, и кого только ни облапошивали и ни обкрадывали, и кто только здесь ни толкался локтями и спинами – от моряков и офицеров до инженеров и больших начальни-

ков. Потому что здесь можно было купить именно то, что нужно тебе, то, чего нигде больше нет.

Ниже нашего дома, на улице Искровской, в подвале одноэтажного дома, располагался музей-типография ленинской газеты «Искра». Напротив, через дорогу – большое четырехэтажное здание школы №174, в которой я и учился. В этой школе я провел девять лет. По сей день ясно помню своего классного руководителя, преподавателя русского языка и литературы Нину Владимировну (вот только фамилию запомнил), которая привила мне любовь к языку Пушкина, преподавателя азербайджанского языка, благодаря которой я могу говорить на ее родном, красивом, теплом, певучем языке.

Огромную территорию занимал парк Советской Армии. Через дорогу красовалось величественное здание Джума-мечети. Именно здесь мне довелось видеть грандиозное явление шахсей-вахсея, когда полураздетые окровавленные люди истязали себя плетями, цепями и кинжалами...

Вот в таком экзотическом районе, в таком «оазисе» я жил и рос. Да и люди, окружавшие меня, были под стать «оазису».

Позволю себе еще немного отвлечься, отойти от газетной темы, чтобы рассказать вкратце, как я общался к миру культуры и невольно знакомился с урками и их миром. Мне повезло в том смысле, что я не испытал строгих методов воспитания родителей, они мне дали право самому познать, что хорошо, а что плохо, что позволительно человеку, а что запрещено, что поощряется, а что карается. В общем, мне было предоставлено свободное плавание в океане человеческих поступков и поведения, чему я много лет спустя был благодарен.

Итак, вернусь к разговору о знакомстве с миром культуры и ... уркаганов, простите, с миром жулья.

В доме семидесятипятилетней Сейидханум вместе с ней жила дочь Бевюгханум и прелестная, изящная внучка Хумар. Она танцевала в балетной труппе Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова. И вот юная Хумар как-то попросила у моих родителей разрешения взять меня с собой в театр.

Артистическая уборная, куда мы вошли, как сегодня помню, звенела весельем, девичьими голосами, смехом, одни балерины сидели полураздетые, другие примеряли платья, третьи перед зеркалом красили брови, пудрились. Эта жизнерадостная стайка налетела на меня, принялась тормошить, пощипывать, поглаживать, а более смелые – зацеловывать, пока Хумар не отогнала их. Ну как же, пацаненок восьми лет оказался в гареме... Перед выходом на сцену Хумар строго-настрого запретила мне покидать артистическую уборную, но как только девушки выбежали, я тут же вышел. И мне открылся закулисный мир театра с его узкими и тесными коридорами, проходами и переходами, раскиданными там и сям разнообразными декорациями, бегущими, шумящими, спорящими людьми, готовящимися к выходу на сцену артистами...

Узкий тесный коридор вывел меня в фойе, я подошел к тяжелой двери, осторожно открыл ее и глазам предстала ярко освещенная сцена с танцующими девушками. Сполохи световых красок, метавшиеся по сцене, безумный вихрь танца изумили меня.

По дороге домой Хумар объясняла мне, что она с подругами исполняла танец в балете «Етти гёзел» («Семь красавиц»). Она что-то говорила долго и длинно нежным, протяжным голосом, а я продолжал находиться в мире музыки, танца, света золота лож и партера...

С этого дня начался мой путь к искусству. Уже спустя всего несколько лет я смотрел балет «Гыз галасы» («Девичья башня»), слушал оперу «Кёрр оглу», один ходил в кинотеатры, когда не бывало билетов в кассе, а в ту пору паломничество на кинофильмы было массовое, всовывал билетерше в ладонь рубль и проходил в фойе, а как только заканчивался документальный фильм или киножурнал, а их обязательно показывали до художественного, билетерша в темноте находила свободное место и усаживала меня (у них были «свои» места). Именно благодаря такому методу, или проще – таким макаром мне посчастливилось посмотреть все серии трофейного фильма «Тарзан» (роль Тарзана исполнял английский актер, чемпион мира по плаванию Джонни Вайсмюллер) в кинотеатре «Азербайджан».

Но больше всего я любил ходить в кинотеатр «Низами». Почему? А потому, что перед сеансами в уютном фойе для зрителей играл эстрадно-симфонический оркестр и песни исполняли молодые певцы. Именно там я увидел впервые композиторов Тофика Бабаева, Рауфа Гаджиева, услышал Зейнаб Ханларову. А во-вторых, кинотеатр «Низами» поражал и радовал комфортом, архитектурой: он был похож на сталинские высотки, что сегодня стоят на семи московских холмах.

Я зачастил в цирк, который располагался недалеко от сада имени 26 Бакинских комиссаров, а потом и в Русский драматический театр имени Максима Горького, но сюда ходил уже с одноклассниками.

С другой жизнью меня познакомил сын Сейидханум Мамедага. Тихий, незаметный, он и вел себя тихо, незаметно. Месяцами отсутствовал, потом появлялся ненадолго и снова исчезал. Где он работал, чем занимался – соседи судачили, шептались, но... никто «ничего не знал». Только спустя много лет мама мне тихо сказала, что Мамедага... вор. Сказала, и как будто забыла о сказанном. А за забором жил старый Гамидгардаш, оба сына которого были грабителями, а иные

шептались, что и убийцами. Но как говорится, нет худа без добра: в нашей округе, точнее квартале, никогда не было случаев воровства, и двери квартир не запирались. Среди воров действовал неписанный закон: в районе, где они живут, не должно быть воровства. И мы чувствовали себя как у бога за пазухой. Двери наши никогда не запирались. Сейидханум заходила к нам как в свою комнату, по необходимости брала из шкафчика крупу, масло, сладости, благо, отец мой, будучи офицером, ежемесячно получал паек. Сейидханум, да и дочь ее Бевюгханум, звали моего отца, как я уже заметил, по-родственному – Миша-гардаш, а вечерами все ее жильцы собирались во дворе за чаепитием у большого медного самовара и, тепло беседуя, пили стакан за стаканом крепкий ароматный чай вприкуску с пайковым сахаром или конфетами-подушечками.

Однажды вечером, когда только-только намечались сумерки, Мамедага попросил разрешения у моей мамы взять меня с собой на прогулку. Мама меня приодела и мы с Мамедагой (а он держал меня за руку) вышли на Шемахинку. По ней ходили трамваи. На трамвае мы доехали до парка пионеров, у двухэтажного особняка, в котором жил первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Мирджефер Багиров, Мамедага спрыгнул на ходу, удерживая меня под мышкой. Тут его ждали приятели. Мы спустились на набережную, заполненную бакинцами. У яхт-клуба Мамедага с приятелями задержались. Наказав мне далеко не отходить, они скрылись с компанией в темноте. Я прошелся, не удаляясь, по первой аллее, и по второй, и по третьей, а по ним гуляли толпы людей, потом присел на скамейку и чуть не задремал. Благо, появился Мамедага с друзьями.

Домой мы пришли где-то около часа ночи. Родители не спали. Но недовольства не высказали (в душе, наверное, волновались: до часу ночи пацаненку шастать по темным улицам, виданное ли дело...).

Прогулки наши с Мамедагой продолжались. Его подельники стали приводить с собой «своих малышей», мы подружились и вскоре в отсутствие своих покровителей уже гуляли самостоятельно.

Хочу заметить, что бакинский бульвар был любимым местом отдыха бакинцев и гостей города. Одна аллея его тянулась вдоль моря, средняя терялась в тени под густыми кронами деревьев, третья примыкала к проспекту Сталина, по которому ходили авто, троллейбусы, фаэтоны. И днем, под жарким солнцем, и вечером, особенно вечером, он был полон людьми: кто отдыхал, кто веселился, кто искал счастья своего.

Благодаря таким походам или точнее выходам в город я познавал Баку: его многокилометровую набережную, которая начиналась от «Азнефти» и заканчивалась за морским портом, где был возведен огромный комплекс Дома Правительства; любимыми местами отдыха стали сад, который бакинцы любовно называли «Парапет» с экзотической достопримечательностью в центре – огромной пальмой, площадь «Генжлик» у музея Низами, «Ичери-шеер» (точный перевод – внутренний город) с дворцом Ширван-шаха и с каменной громадой «Гыз Галасы» («Девичьей башней»), древними каменными домами и лабиринтами узких улиц и глухими тупиками, защищенными крепостной стеной, торговая улица, которая протянулась от кинотеатра «Ветен» до проспекта Низами и постоянно была запружена бакинцами и гостями города, сад имени 26 Бакинских комиссаров, парк пионеров, фуникулер...

Долго перечислять все те прекрасные уголки Баку, которые запали в душу и греют по сей день. В любом районе города я мог ориентироваться с закрытыми глазами. Гости Баку да и сами бакинцы часами блуждали в тупиках «Ичери-шеера» в поисках выхода, а я мог войти с «Генжлер мейданы» и через десять минут выйти на проспект Сталина у «Гыз Галасы».

Особое место в памяти занимает сад «Парапет», в полдень он заполнялся мужчинами. Только мужчинами, которые безмолвно слушали мугамы, шур, сейгах, раздававшимися из репродукторов. Слушали как молитву. Слушали часами. И никто не смел нарушить никакими звуками и шумами их слушание.

И с этим Баку меня познакомил Мамедага.

Только позднее, если не сказать – в зрелые годы, я понял иной смысл такой любви ко мне Хумар и Мамедаги. Среди азербайджанцев было принято девушкам появляться на людях (в обществе) с малыми детьми. Тем самым они явно показывали свою любовь к детям и желание уже иметь детей. Благодаря мне (!) к Хумар стал приходить высокий, крепко сложенный парень. А вскоре они и поженились.

А для Мамедаги я служил как бы ширмой или палочкой-выручалочкой: милиция не могла заподозрить во внимательном, добродушном «папаше» вора-рецидивиста.

Может, я и не прав, но как бы там ни было и какими бы ни были их намерения, я им все же благодарен за то, что они вывели меня в мир людей.

А в свободное время дома я конструировал кораблики. Вскоре, непонятно почему, откуда пришла эта страсть, стал собирать детекторные приемники. Покупал какие-то катушки с проволокой, сопротивления, канифоль, паяльник, что-то заматывал, закручивал, припаивал, а однажды надел наушники, покрутил регулятор, что-то в небольшой коробке зачertyхало, зашипело, зашумело и, наконец, заговорило. Придя со службы домой и увидев меня в наушниках, отец удивился. Я протянул ему наушники. Он надел их, не успев еще сбросить китель и снять сапоги, удивленно поднял брови:

– Смотри-ка, Москва, а это Тегеран, а вот и Тбилиси... Ты что, решил стать радиоинженером?

Вскоре и это занятие мне наскучило.

Но мне ничуть не надоедало гулять по моему Баку и не надоедало писать... что бы вы думали? Басни. Да, да, басни.

Легковесное, смешное занятие, скажете вы? Но их писал Крылов, Михалков, и, как позже я узнал – Лафонтен, Ларошфуко... Я писал и отправлял в Москву, в журнал «Крокодил», во всесоюзную газету «Пионерская правда». И на каждое письмо получал ответ. Обязательно. Ни одно не оставалось безответным. Меня поддерживали за увлечение, отмечали злободневность темы и советовали читать как можно больше русских писателей, особенно Пушкина, Лермонтова, Чехова, Тургенева, обогащать свой словарный запас, особенно литературный словесный запас.

Отцу я их не показывал.

И я читал. Читал взахлеб.

Читал и центральные газеты, которые выписывал отец, и художественную литературу, которую он приносил из библиотеки Дома офицеров. Уже в ту пору я, пацан, поглощал взрослую литературу – как сейчас помню «Гулящую» Панаса Мирного, «Даурию» Константина Седых, «Амур-батюшку» Николая Задорнова, «Угрюм-реку» Вячеслава Шишкова, «Котовского», «Саламбо» Флобера, «Милого друга» и «Пышку» Мопассана, «Спартак» Джованьоли, «Десницу великого мастера» Гамсахурдия, «Тебриз – туманный город» Ордубади, романы Абая Кунанбаева, Берды Кербабаева, Тынянова... Сегодняшний читатель о таких книгах и писателях и не слышал. Сначала их читал отец, потом мать, и, наконец, очередь доходила до меня.

Наша семья занимала одну комнату и коридор, в коридоре было оборудовано место для дедушки (отец отца с довоенных лет жил с нами), а комнату занимали отец, мать, сестра и я. Я размещался на диване. Под столом, у моего изголовья, горела лампа, слышалось сопенье спящих, над фанерным потолком, выкрашенном в голубой цвет, шумела своя жизнь – там по ночам

шалили крысы и мыши. А я читал. До полуночи. Пока отец не заставлял гасить лампу: он спал чутко, очень чутко – научили военные годы.

Как вы уже, наверное, заметили, жили мы в ужасной тесноте. Но хоть отцу и предложили, наконец, сборно-щитовой дом в Сальянских казармах, мама отказалась переезжать. Прикипели к своей улице имени Папанина, к своему тупику номер два, дворику, соседям, к базару и кубинке, да и жили почти в центре Баку, недалеко от Бешмертебели (так называли большой пятиэтажный дом с магазинами на первом этаже), а Бешмертебели был уже почти центр. До сада «Парапет» рукой подать.

Итак, я читал взахлеб. Продолжал писать басни, посылать в Москву и получать письма. И тут меня, то ли в шестом, а то ли в седьмом классе, назначают редактором классной стенной газеты.

В восьмом, а затем в девятом – редактором школьной стенной газеты.

Девятый класс я заканчивал в Махачкале. Отец демобилизовался из армии в звании подполковника и мы переехали на свою малую родину.

В школе №5, куда меня определили, опять назначают редактором стенгазеты. Через полтора года, окончив учебу, я поступил на историко-филологический факультет Дагпединститута, который был преобразован в университет.

И тут... стенгазета.

Что за наваждение?

Перст ли судьбы?

В ту пору о семейных династиях и разговоров-то не было.

Объясняется генами? Генетика взяла вверх?

Да, отец мой и дядя – его брат, были журналистами и литераторами. Дядя после войны ушел в науку, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, стал доктором исторических наук, профессором, жил

и работал в Москве, написал большое количество статей, издал несколько книг. Отец работал в газете, в годы войны работал в армейской газете, стал профессиональным журналистом и писателем, писал прозу, пьесы, стихи...

Но какая сила повела меня по этому пути? И кто? Чья рука водила от ступеньки к ступеньке, поддерживала?..

5

Но вернусь к моей «журналисткой» деятельности.

Итак, несколько месяцев я сидел за правкой, то есть редактированием материалов, поступавших по почте, а писали в ту пору и рабочие, и колхозники, и школьники, и студенты, кто мог и не мог грамотно изложить свои мысли, кто владел и не владел русским языком. А я из этого готовил информации, корреспонденции, статьи, фельетоны, которые должны были отвечать требованиям газетных жанров. И отвечали. Иначе бы их не публиковали.

Но эта работа за кого-то, «за того парня», меня начинала коробить. Когда же мне дадут задание, чтобы в газете появилась статья под моей фамилией? – эта мысль стала посещать меня все чаще и чаще. Нет, нет, пробуждалось не тщеславие, а... честолюбие.

И я решил проявить инициативу. О том, как она будет воспринята в коллективе, не думал. Да и не хотел думать.

В соседнем подъезде трехэтажного дома, в котором жила наша семья, появилась девушка-горянка. Она приехала навестить тетю, работавшую в обкоме партии, задержалась, да так и осталась у нее. Помогала по хозяйству. И вдруг узнаю, что она устроилась ученицей часового мастера – вечером во дворе соседи о чем только ни судачили и именно от них я узнал необыч-

ную новость. Спустя некоторое время девушка, а звали ее Аминат, работала уже часовым мастером.

Вы можете себе представить начало шестидесятых годов и девушку-горянку часовым мастером? Тогда это было чем-то необъяснимым, сверхъестественным. Чуть ли не сногшибательным поступком, если не революционным. У Аминат испортились отношения с тетей и односельчанами, она не отступила от принятого решения, отстояла свою профессию.

Я решил встретиться с ней у нее на работе, в часовой мастерской. В беседе провели не один час. Заходили люди, сдавали на ремонт часы, получали уже отремонтированные и довольные уходили. Клиентов у Аминат было много.

Я написал о горянке – первом часовом мастере небольшой очерк на одном дыхании и утром положил на стол редактора.

Он поднял от стола голову и взглянул на меня:

– Что это, тезка?

– Почитайте на досуге, Феликс Аванесович, – и я вышел из кабинета.

В субботнем номере был опубликован мой очерк.

Какая была реакция коллег? Да никакая. Просто одни обращали на меня удивленные взгляды, другие недоверчивые, третьи любопытные...

К этому времени я был активным членом литературного объединения при редакции «Комсомолец Дагестана». Начал посещать я его еще будучи студентом университета. Регулярно приходили на занятия молодые стихотворцы Леонид Лучкин, Петр Малаев, Юрий Ягданов, Самсон Бройтман, Сталина Бройтман, Роман Бадалов, Лазарь Амиров, Владимир Армашевский, Вася Гончаров, Иван Неботов, Александр Дубровский, Борис Булычев, Георгий Храмцов, Виктор Мехтиев, Валентина Фоменко, Елизавета Рафф, Владимир Осипов, Виктор Черкасов, Владимир Портнов, прозаики Вацлав Михальский, Иззат Алиев, Геннадий Габиров,

Таймаз Асланов. Вел занятия профессиональный поэт Матвей Львович Грунин. Мы читали свои стихи, разбирали их, отмечали достоинства, недостатки. Матвей Львович тактично выправлял, безусловно, вносил и свое – на то он и был и поэтом, и учителем. Благодаря его неумной энергии и любви к молодым был подготовлен и Дагестанским книжным издательством выпущен в свет коллективный сборник «Счастье трудных дорог». В него вошли три моих стихотворения. Часто проводили вечера поэзии в учебных заведениях, на заводах, фабриках.

Вскоре Матвей Львович уехал в Крым и его место занял прозаик Николай Левченко, приехавший к нам из Свердловска. Любимым жанром его были рассказы, публиковались они в центральных изданиях, чаще в журнале «Огонек».

«Творения» наши широко обсуждались. В обсуждении принимали участие и известные литераторы Александр Грач, Абдул Раджабов, Виталий Горбач, Рамазан Каниев.

Шли дни. Стихи мои начали публиковать в «Дагестанской правде», альманахе «Дружба», но совмещать поэзию и журналистику становилось все трудней и трудней.

Голова тяжела от образов, метафор, рифм, неумных строк, строф, а мне требовались поездки, встречи с людьми, долгие часы бесед, поиски в них рационального зерна. И я без сомнения, безболезненно, как-то мягко, отошел от стихотворчества и подружился с прозой. Благо, сюжеты для рассказов мне подсказывали частые поездки и встречи с горцами и их миром.

Бывает, увлечешься работой, мысли уводят далеко, в неведомый, загадочный мир, в призрачные мечтания, сладостное умиротворение обволакивает тебя...

И вдруг вздрагиваешь – солнечная сказка расколота, разрушена.

Так случилось в очередной раз – зазвонил телефон. Мой коллега Альберт Гусейнов, сидевший за столом напротив, поднял трубку. Мы были однокурсниками: пять лет учились в университете, сидели бок о бок. И в редакции оказались рядом, правда, он пришел чуть позже меня. Альберт увлекался шахматами, был мастером спорта, спустя годы неоднократно становился чемпионом Дагестана.

– Шеф приглашает, – коротко пробурчал он, бросил трубку на рычаг и продолжил излагать свои мысли на бумагу.

– Как настроение, тезка? – спросил Феликс Аванесович, указав взглядом на стул, – разговор будет не короткий.

Он долго вводил меня в курс дела: в Касумкентском районе на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах созданы и работают кружки по изучению русского языка. Необходимо было поддержать инициативу комсомольцев, рассказать о зачинателях, а потому подготовить корреспонденции от руководителей кружков, хозяйств, от слушателей о важности данного необычного начинания.

Одним словом, подготовить несколько материалов на разворот. А фотоснимки попросить сделать фотокора районной газеты.

Тон разговора был спокойный, но я чувствовал, что он хотел понять, разгадать, прочитать по выражению моего лица, глаз мое настроение.

– Надо – поеду. Мне даже интересно побывать в районе.

– А ты когда-нибудь выезжал из города?

– Будучи студентом, участвовал в уборке урожая кукурузы в Нижнем Чирюрте, винограда – в совхозе имени Алиева, фруктов – в совхозе Герейханова... Ле-

том каждый год выезжал в Москву к дяде, тете, братьям двоюродным...

– Так, так, – удивленно протянул он. – Выписывай командировку на пять дней и в субботу выезжай.

Моя поездка родителей совсем не озадачила. Более того – даже обрадовала маму. Ехать надо было через Дербент, а в Дербенте жила бабушка (ее мать), дяди, тети, двоюродные братья и сестры, которых было несколько десятков и которых всех невозможно было навестить, а потому к бабушке следовало появиться инкогнито. Да и с гостинцами от матери.

Итак, ранним утром следующего дня я выехал, день провел с младшим дядей в прогулках по Дербенту, бродили по местам военных лет... Громко сказано, но так ведь было! Перед отъездом на фронт отец отправил нас – меня, сестру, нашу мать и своего престарелого отца к родителям матери. Другого выхода не было. И годы лихолетья прошли по нам, а если точнее – и через нас.

Постояли у старой мельницы, где когда-то выклиничивали макуху, или жмых, как его еще называли, любовались фундуковыми и инжировыми рощами – сейчас о них помнят только старики, постояли у речки, где в далекую пору я чуть не наступил на гюрзу, и только окрик дяди заставил меня замереть с поднятой ногой, пока змея не уползла...

А вечером, усевшись за сьюфре, накрытом на полу, на теплом ковре, любовались огромным и поржавевшим кинжалом деда (по матери). Когда его домочадцы спрашивали – зачем он тебе сейчас нужен, ты же не севдегер (купец) – он, усмехаясь в усы и со смешинкой в глазах говорил: – просто напугать. Кто ко мне, к бедняку, закрадется? Такой же бедняк, как я. Вот для того, чтобы уstrasить его, остановить, посадить, накормить, чем бог послал, и отпустить на все четыре стороны.

Ранним утром следующего дня я выехал в Касумкент. Конечный пункт – площадь райцентра. Еще в пути у попутчиков я выяснил, где располагается райком

комсомола, и, сойдя на твердую землю, направился прямо к месту назначения.

Первый секретарь райкома комсомола Куйбыш Исабеков встретил меня приветливо.

– Слышал, слышал о цели визита...

– Уже сообщили? Позвонили?

– Да о чем тут писать? Мы и так все пользуемся русским языком, а тут зародилась идея приобщить к языку старшего брата все возрастные группы населения... Чтобы писали и говорили грамотно, красиво, а не абы как...

– Задание есть задание, – перебиваю его. – Давай-ка решим, как нам организовать нашу работу.

Ведь мне надо было написать семь корреспонденций, шесть организовать, то есть написать самому за подписью другого лица (автора), а один свой – репортаж. Именно жанр репортажа с занятия я выбрал для себя. Вместе мы наметили и объекты – консервный завод, завод минеральных вод, вечернюю школу рабочей молодежи, хлебопекарню, колхоз, одно из районных учреждений, выступление первого секретаря райкома комсомола о том, как, с чего началось это необычное движение, что подвигло комсомольцев на такую идею, какова реакция населения. Фотоиллюстрации решили попросить сделать фотокора районной газеты.

– А теперь – ко мне в гости, отдохнуть надо с дороги.

– Спасибо, я устроюсь в гостинице, а вечером встретимся.

Как ни упорствовал Куйбыш Исабеков, я настоял на своем. А вечером мы с его друзьями и коллегами сидели у него в доме на цветастом красивом сумаге и его молодая жена Лида раскладывала нам сюрре (скатерть) прямо на полу, по нашим горским обычаям.

В пятницу, во второй половине дня, я выехал в Дербент, переночевал у бабушки, и в субботу поездом приехал в Махачкалу.

В воскресенье весь день я отписывался. И в понедельник, войдя в кабинет редактора и поздоровавшись, положил ему на стол материалы с фотоиллюстрациями (материалы все были в рукописи, в машинное бюро он направлял с визой, конечно, если одобрял).

– С приездом. Как съездил? – он поднял голову от стола и тут же опустил.

– Хорошо.

– Оставь. Я почитаю.

День прошел в ожидании его звонка. Второй... Третий... На четвертый – его голос:

– Тезка, зайти.

Захожу, сажусь у дверей в ожидании... чего и сам не знаю. На столе стопка моих материалов.

– Ознакомился. Неплохо. Неплохо справился с заданием. – Он откидывается на спинку стула: – Но... чего-то не хватает. Как будто все есть, все, что нужно охватил, и будто чего-то нет. – Пожимает плечами. – Изюминки нет. Какой-то изюминки нет.

– Какой изюминки?

– Сам не знаю. Может, поедешь еще раз? Найдешь ее, отыщешь, откопаешь? Вторую командировку редакция оплатит, не волнуйся. Ну как, добро?

– Если надо – поеду. – Теперь уже я пожимаю плечами. Забрав рукописи, я вышел из кабинета.

Родители удивились второй моей поездке, но... против ничего не сказали. Удивился и Куйбыш Исабеков.

– Какая ему еще изюминка, – ворчал он, – мы все здесь в напряге от этой нашей инициативы (слово это он произнес раздельно и по слогам), а ему еще изюминку откопай... А знаешь что? Не бери в голову. Будем пять дней гулять.

– Как это гулять? Где?

– Это я так для красоты выразился. Поедем по колхозам, встретимся с комсомольцами, отдохнем в садах. Ты бывал в наших яблоневых садах? Нет, конечно. Вот увидишь и полюбишь. А какие у нас яблоки, какие

сорта – розмарин, кандиль-синап, кандиль-китайка, пепин-лондонский, шафран... Ты когда-нибудь слышал такие названия? На махачкалинском базаре их не услышишь...

Пять дней прошли в поездках, в прогулках, беседах с садоводами, комсомольцами, и ранняя осень радовала нас теплом, запахами утомившейся земли и цветов, чистым и каким-то вкусным воздухом, наполненным утомленным солнцем и томлением земли.

В понедельник, войдя в кабинет Феликса Аванесовича, я положил ему на стол стопку рукописей с фотоиллюстрациями. Не поднимая головы от стола, он проговорил:

– Позже вызову.

Вызова я не дождался.

А в очередном номере «Комсомольца Дагестана», который выходил в свет три раза в неделю, был помещен разворот с иллюстрациями (а это две газетные полосы), посвященный изучению русского языка в Касумкентском районе. Утром в кабинетах редакции шелестели газетами. Чуть позже на доске объявлений появился приказ. За оперативную организацию разворота редактором мне была объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку.

А еще позже зазвонил телефон:

– Тезка, зайди.

Феликс Аванесович, откинувшись на спинку стула, улыбался:

– Думаешь, я не понял, что ты второй раз сдал мне старые рукописи? Ни строки не добавил. Ни слова. Добротнo написано, хорошо. Все, что нужно охватил. Хочешь спросить, почему отправил второй раз? – Лицо его сделалось серьезным. – Хотел проверить тебя... любишь ли командировки. Не каждый охоч на поездки. А ты – молодец. Спасибо за работу.

И крепко пожал мне руку.

Между прочим, из первой своей командировки я привез материал и для первого своего фельетона. Каждый вечер на центральной площади Касумкента невольно встречался с тремя юнцами. Они праздно, скучая, шествовали из конца в конец площади в узких брюках-дудочках, высоко подняв воротники пиджаков. А на улице – теплынь. На мое любопытство сельчане с усмешкой объясняли: – тунеядцы, окончили школу, а работать не хотят. То же самое сказал и первый секретарь райкома комсомола: – и в райком их вызывали, и журили, и к совести призывали – результат нуль.

На «нуль» напоролся и я, когда решил подойти к ним на площади и поговорить. А родители юнцов тепло приняли меня и откровенно делились горем, свалившимся невесть откуда: росли послушными, заботливыми и вдруг будто шайтан вселился в них, и перед джамаатом стыдно...

Вернувшись из командировки, я «разразился» фельетоном. Он назывался «Трое с поднятыми воротниками».

Спустя месяц, приехав по делам в обком комсомола, Куйбыш Исабеков встретился со мной:

– Спасибо за фельетон. Тунеядцы не знали, куда спрятаться от позора: от мала до велика указывали на них пальцем и смеялись. Сейчас работают, и родители не нарадуются.

Не могу не сказать несколько слов о Куйбыше Исабекове. Некоторое время спустя он был уже секретарем обкома комсомола, а чуть позже мы оба работали в обкоме партии и даже сидели в одном кабинете – он курировал административные органы, защитил кандидатскую диссертацию, затем был назначен первым секретарем Курахского райкома партии, трудился в Совете Министров Дагестана, ныне преподает в одном из высших учебных заведений республики.

За долгие годы работы в газетах, а затем в обкоме партии, я побывал почти во всех районах и городах республики, ездил в открытых кузовах машин, на автобусах, летал на десятиместных кукурузниках, пешком исходил не один десяток километров по степным дорогам и горным тропам. Сегодня мало кто уже помнит, что до Хунзаха, Ботлиха, Караты, Ахтов автобус шел восемь-девять часов, почти весь световой день, а «По-2» долетал за сорок пять минут. Увы, кукурузники отлетали свое, а автодороги стали короче.

Помню, как-то ранней весной в редакцию пришло письмо из Тагиркент-Казмалярского детского дома. Воспитанники детдома так живописно и любовно расписывали выращенный ими гранатовый сад, что я решил поехать к ним и воочию убедиться. Приехав в Магарамкент, мы с заведующим отделом райкома комсомола на райкомовской машине отправились к детям.

Гранатовый сад буквально потряс меня. Такое чудо могли вырастить только чудесные люди с чудесной душой. Очерк сам, по ходу знакомства с детьми, общения с ними и воспитателями, созрел и ложился строками в моей голове.

Утром собрался в обратный путь. Я решил идти пешком. Не знаю, то ли под впечатлением увиденного и услышанного, то ли в поисках чего-то нового, красивого, романтического, но я решил идти пешком. Как ни уговаривал меня мой попутчик сесть в машину, я настоял на своем. Он уехал.

Было утро. Теплое осеннее утро. Ласково грело солнце. В воздухе перемешались запахи цветов, пыли, полыни. Пели птицы. И я – один, бредущий по дороге. И душа напоена окружающей красотой, простором, синевой неба. Проезжавшие грузовые машины и автобусы останавливались, водители звали в кабину, а я

отнекивался и шел дальше. Пообедал в придорожной просторной столовой, передохнул и пошел дальше.

В Магарамкент я пришел, когда еще было светло.

А как-то пришлось «пройтись» из райцентра Ахты в Хнов. Вместе с заведующим отделом райкома партии Бубой (фамилию запомнил, сколько десятилетий прошло).

– Слушай, боюсь за тебя, не дойдешь ты, – спокойно охал и ахал он. – Мой дед при случае любит поучать: «горцам – чарыки, городским – туфли».

А сам-то шагал в туфлях, правда мягких и удобных, с сумкой в руке.

Мы шли по ущелью, ступая по тропе, протоптанной меж кустами. Справа, в десятке метров, высилась отвесно гора, поросшая травами. Слева, внизу, почти под ногами, урчал Ахты-чай. За рекой мощные стены гор. Я спокойно шел по тропе, вслед за Бубой, очарованный невиданной красотой.

Каньон был потрясающ. Он напоминал каньон из американского кинофильма «Золото Маккенны».

В полдень сделали привал. Буба открыл сумку и выложил на чистое тонкое полотенце вареную курицу, лаваш, помидоры, огурцы, сыр, бутылку с родниковой водой. Вдруг он медленно, очень медленно протянул руку, схватил увесистый камень и сильно и резко метнул в сторону кустов.

– Случилось что? – удивился я.

– Куропатки.

Они спокойно, благодушно и бесстрашно перебежали через тропу. И как ни старался Буба попасть камнями хотя бы в одну, удача не сопутствовала ему.

К концу дня, когда мы стали спускаться по тропе, я поднял голову, глянул влево – замер. Золото заходящего солнца омывало село. Оно лежало на небольшой плоскости, защищенное с трех сторон холодными горами, как на ладони. Все село пламенело, точнее пылало, в закатном свете. На окраине, на гумне, медленно и

скучно ходила по кругу лошадь черной масти. К речке, завидев нас, уже бежали дети, размахивая руками, и на коне мчался горец, подняв над головой камчу.

Я никогда не забуду великую школу большого журналиста и настоящего человека Феликса Аванесовича Астратянца.

8

Как-то июльским жарким днем, проходя на городской пляж через базу Госморлова, я остановился, вдохнув удивительный и необычный запах. Необычный, редко встречающийся в городе. Огляделся. Слева – море. Справа – одноэтажное приземистое здание. Но запах не исходил от моря, я это точно уже знал: оно пахнет водорослями в период их цветения или свежим арбузом. Но этот... Я подошел к зданию, дверь которого была распахнута, переступил порог... и замер. Весь пол был усеян стружками, да что там усеян – они образовали сплошной плотный ковер, на столах лежали гладкие обструганные доски. И острый запах стружки, как запах леса, дурманил голову.

Я оказался в плотницком цехе базы Госморлова. Об этом мне сообщил смуглый брюнет выше среднего роста, стоявший с рубанком у длинного стола. Я представился, мы познакомились. Парень оказался бригадиром, назвал свою фамилию – Магарамов. Слово за словом, и мне удалось узнать, что он с ребятами увлекается футболом, является капитаном сборной города. Ребята разговорились, рассказали о себе и о работе много для меня интересного, и ушел я от них с желанием написать о дружной бригаде небольшой очерк.

В одном из очередных номеров он был опубликован.

Спустя неделю коллектив редакции выезжал на курстовую летучку в город Грозный: в ту пору журналисты молодежных газет северокавказских республик про-

водили совместные летучки (своего рода семинары-совещания) – поочередно съезжались в одну из столиц, зачитывали подготовленные обзоры газет за год, отмечали удачи, упущения в работе, помогали и советом и делом, подсказывали темы, рубрики, интересные проекты, жюри отмечало лучшие материалы по жанрам, а газеты – по верстке, ну и так далее.

В Махачкалу наши коллеги из Грозного, Нальчика, Орджоникидзе (ныне Владикавказ), Черкесска приезжали летом, чтобы денек-другой позагорать и искупаться в Каспии (совмещали полезное с приятным).

И вот наша очередная поездка в город Грозный. В ту пору он был многонациональный, красивый и тепло располагал к себе.

Только я сошел с автобуса, как ко мне тихо и незаметно подходит редактор газеты Мариса Темирбекова (ее назначили руководить нами после Феликса Астраханца, который был переведен на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию) и так же тихо произносит:

– Феликс, а ты знаешь, я до сих пор ощущаю этот запах стружек... Весь очерк пропитан запахом и источает его. Как это ты так сумел описать...

Вообще она была романтически настроенной женщиной.

Одна из моих поездок состоялась в поселок Южно-Сухокумск. Я вызвался написать очерк о нефтяниках, конкретнее – о бригадире Магомед Азизове и буровиках его небольшого коллектива. Поселок (тогда он еще не был городом), так вот поселок в степи встретил меня тишиной, чистотой и главное – добрыми лицами и взглядами нефтяников. Свою помощь предлагали и в парткоме, и в профкоме, но сидеть в конторе и рыться в личных делах, цифрах, приказах меня не устраивало, и я напросился поехать с рабочими на буровую. Весь день общались, обедали за общим, сколоченным из крепких досок, столом, когда выдавалось свободное

время у Магомеда Азизова, мотался с ним, буквально мотался от буровой до буровой к нефтяникам...

А вокруг – ровная, как стол, степь, сливающаяся с горизонтом, и терпкий запах прогретой земли и полыни, неистребимый запах полыни.

Вечером свободные от вахты кто сидел, а кто лежал на деревянных настилах, рассказывали байки, анекдоты, разные истории, ну кому что взбредет на ум... Потом опустилась ночь. Но какая была эта ночь! Вокруг, куда ни бросишь взгляд – темень. Где-то, в разных сторонах тьмы, слабо и мелко, очень мелко светятся огоньки – это лампочки на буровых вышках. А над головой – огромное, безграничное черное покрывало, густо обсыпанное зелеными звездами. И так низко висит это покрывало, что хочется подняться, протянуть руку и оторвать звездочку на память.

Вот описание нашего бдения и особенно ночного расцвеченного неба привело в восторг моего редактора. Очевидно, она на самом деле обладала поэтической душой. Нефтяникам Южно-Сухокумска – их трудовым будням, тяготам и радостям, их жизни, оторванной от больших городов, но полной удивительной романтики, которой лишен городской житель, я посвятил серию очерков и зарисовок.

Магомед Азизов вскоре получил Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. А спустя несколько лет был утвержден первым секретарем Избербашского горкома партии.

9

Отступая от основной канвы сюжета и забегая вперед, хочу коротко рассказать о редакторах газет, с которыми довелось работать за долгие годы журналистской деятельности.

О первом я уже рассказал – Феликс Аванесович Астратянц, опытный, глубоко мыслящий руководи-

тель, тонкий психолог, прекрасный педагог, подготовивший не один десяток профессиональных журналистов. Перейдя из газеты на телевидение, он внес в свою работу много новых, интересных, смелых проектов.

Его сменила Мариса Темирбекова. Это была молодая, симпатичная, энергичная, как и все комсомольские работники, компанейская женщина, любившая праздники, комсомольско-молодежные вечера, наши мальчишники. Почему мальчишники? Да потому, что коллектив редакции был почти мужской. Она вошла в нашу среду мягко и, казалось бы... прочно. Побывав на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Финляндии, несколько месяцев публиковала на страницах газеты свои впечатления о стране Суоми и о фестивале, и гонорар каждого номера размечала себе. Труд журналистов несколько месяцев не оплачивался. Наши замечания, требования не принимались во внимание.

Вот тогда-то инициативная группа обратилась с письмом в ЦК ВЛКСМ. Подписались все журналисты.

ЦК ВЛКСМ не замедлил отреагировать на письмо, направив к нам своего инструктора. Это был молодой, интеллигентный человек, своим обаянием и манерой разговора расположивший к себе всех сотрудников редакции. Он встретился с каждым из нас, с ответственными работниками обкома партии... И незаметно отбыл. И как только он уехал в Москву, нас всех вызвали в сектор печати обкома. И началась... экзекуция. Ответственный работник кричал на нас громовым голосом, обрушил вал негодования и чуть ли не презрения: мол, кто вам дал право писать в Москву, почему решаете вопрос через нашу голову, следовало обратиться к нам и мы ваше «недоразумение» разрешили бы... Гнев, угрозы обрушивались на каждого из нас – ведь фамилии подписавшихся были известны по письму... Мы слушали и помалкивали, ясно осознавая, что радикальные меры вряд ли последуют. В противном случае

опять уйдет письмо в Москву и опять приедет наш «адвокат». Единственный, кто после такой «горячей бани» был удручен, это Генрих Рашевский. – Вам-то проще, – говорил он, – у вас у кого филологическое образование, у кого журналистское, а у меня техническое, так что на мне отыграются – выплюнут как технаря.

Не выплюнули. А был Рашевский спортивным репортером. Спустя несколько лет он уже работал в «Дагестанской правде», с борцами, легкоатлетами, футболистами объездил почти всю страну, от Якутска и Магадана до Бреста, был признан спортсменами, спортивной общественностью да и всей читательской армией, а тираж «Дагправды» составлял в ту пору сто пятьдесят–сто шестьдесят тысяч экземпляров. Известный в те годы журналист Владимир Соловьев любил иронизировать в адрес Рашевского – «родился в Таганроге, а умер в дороге».

Экзекуция прошла бескровно.

Спустя короткое время наш редактор была направлена на преподавательскую работу в Дагестанский государственный педагогический институт.

Кстати, вскоре она защитила кандидатскую диссертацию в Москве, а оппонентом ее был мой дядя, доктор исторических наук, профессор Дубия Юсупович Бахшиев.

На смену ей пришел Казимагомед Салманов, работавший секретарем Махачкалинского горкома комсомола. Невысокого роста, сухоощавый, живой по характеру и быстрый в решениях, он был встречен в «Комсомольце Дагестана» как-то настороженно – не газетчик ведь, но вскоре стал своим в коллективе. Он никому ничем не мешал в работе, когда нужно (а ситуации случались) защищал своих ребят, не давал их в обиду спекулянтам, рвачам, нерадивым руководителям, которых довольно часто развенчивали и высмеивали в фельетонах, критических статьях, шаржах.

Казимагомед Салманов был душой всех застолий, праздников, торжеств. В нем бурлил юношеский задор, он весь светился доброй, созидательной энергией. И мы, молодые журналисты, зажигались его энергией. Поражала в нем одна черта характера – даже в самые, если можно так выразиться, казусные моменты, он никогда не терял присутствия духа, тут же легко выходил из смешного положения.

Однажды на свадьбе сотрудника редакции, а она проходила в уютном дворе невесты, Казимагомед Салманов встал из-за стола, нарядный, в черном костюме, белой рубашке, галстук и, готовясь произнести тост в честь новобрачных, взял со стола бутылку шампанского, долго возился с пробкой – она почему-то не поддавалась – и вдруг грохнул выстрел. Сидевшие за столами вздрогнули: выстрелом вылетела пробка, вверх взметнулась тугая пенистая струя и обрушилась на Казимагомеда. Он оцепенел, онемел в изумлении. И вдруг раскатисто расхохотался, вызвав безумный смех у всех присутствующих. Чуть позже, когда все уже расслабились и были навеселе, подходил почти к каждому и удивленно вопрошал:

– Как это случилось, а? Всегда открывал умело, спокойно. Как это случилось, не знаешь?..

Однажды я просматривал читательские письма, когда заурчал телефон (он издавал необычный звон, его так настроили, чтобы уберечь ухо, да и психику, ибо в редакцию звонили не переставая, как говорят, без передыху).

Поднял трубку.

– Ты очень занят?

– Да нет. Письма просматриваю.

– Зайди на минуточку.

Я вошел в кабинет редактора, присел на диван. Казимагомед поднялся из-за стола, подсел и, повернув голову, обратил свой взгляд на меня.

– Мы с тобой давно знаем друг друга, вместе учились в одном вузе, даже в одном корпусе, вместе познавали законы намуса. И вот я решился только тебе открыть душу. Почти год я работаю редактором, а ни хрена не знаю, что такое газета. Ее делает мой ответсекретарь Саша Грач, ее делаешь ты, другие толковые ребята. Я ничего не смыслю в этом деле. И вот я хочу спросить тебя – уйти мне?

– А есть куда идти?

– Меня привлекает научная работа. И тема есть. И научного руководителя приметил.

– Не будешь жалеть, что ушел?

– Ничуть.

– Иди, Казимагомед.

Он обнял меня за плечи:

– Спасибо. Спасибо, что понял да и поддержал меня. Баркала.

Спустя некоторое время он уже работал в Дагфилиале Академии наук СССР, защитил кандидатскую диссертацию, а еще спустя время стал доктором философских наук.

Махачкала – город не столь велик. Часто встречаясь на улицах, мы, устремляясь навстречу друг другу, всегда обнимались как братья.

Очередной редактор Гаджи Арипов пришелся по душе молодым журналистам своим спокойным характером и степенностью. Он имел за плечами и службу в Советской Армии, и журналистское образование, знал все премудрости газетной работы, сам писал на русском языке, не давал ребят, выступавших с острыми, критическими публикациями, в обиду.

Однажды ко мне зашел секретарь комсомольской организации Махачкалинского консервного комбината Магомед Сулейманов. Вздволнованный. Это был один из боевых и деловых комсомольских вожakov города.

– Слушай, ты должен нам помочь. Директор у нас зарвался...

– Успокойся, расскажи, что произошло.

– Комсомольцы провели рейд по всем цехам комбината, выявили недостатки в организации работы, антисанитарию, направились к директору, а тот выдворил их, заявив: не ваше дело, идите работать...

Я отправился с Магомедом на комбинат, вместе прошли по следам рейдовой бригады, потом решили заглянуть к директору. Нас долго продержали в приемной... но так и не пустили в кабинет.

Результаты рейда были у меня в руках, выписанные на нескольких страницах, впечатления о положении дел в цехах и на участках сложились вполне объективные, поскольку я сам лично в них побывал и встретился с рабочими и, убедившись в правоте комсомольцев, выступил со статьей в газете.

Спустя несколько дней меня вызывает к себе редактор, протягивает несколько листов:

– Читай, ознакомься, в чем тебя обвиняет директор комбината Курбанов. Требуется дать в газете опровержение и строго наказать автора статьи. Сегодня на комбинате состоится общее собрание трудового коллектива, требуют твоего присутствия.

...Большой актовый зал был набит до отказа. Но вот на что я обратил внимание – одни сидели с ухмылкой на лице, другие льстиво улыбались президиуму, третьи, опустив головы, глядели в пол.

Наконец началась... экзекуция. Выходившие один за другим к трибуне лизоблюды оскорбляли комсомольцев, поносили их вожака за наполеоновские замашки, ругали автора статьи, который пошел у них на поводу, не изучив ситуации и не проверив факты.

Я все ждал, когда мне предоставят слово, но президиум и не думал вызывать меня к трибуне. В «плане» этого не было. Только после того, как секретарь парткома комбината Камиль Нажмутдинов потребовал дать слово корреспонденту, я изложил факт за фактом – что творится в цехах и тормозит рост производительности

труда. И, бросив взгляд в зал, громко спросил: «Имеет это место?». И те, кто еще недавно сидели, опустив головы, выпрямились и по залу пронеслось: «Да!». И стали выходить к трибуне без разрешения президиума один за другим... Вышел, наконец, и Камиль Нужмутдинов. Он говорил и об успехах коллектива комбината, и о просчетах в работе, и о роли молодежи и даже газеты в трудовой и общественной жизни рабочих, а в конце выступления повернулся лицом к директору: «Вы должны не ругать, не оскорблять, а благодарить и вожака молодежи, и корреспондента за то, что они показали вам ваши недочеты. Вот исправите их и скажете ребятам спасибо».

Круглое, полное лицо директора было багровым.

В конце следующего дня редактор пригласил меня в кабинет, встал из-за стола, пожал мне руку:

– Спасибо. Я все знаю. Спасибо.

Он высоко ставил и честь газеты, и честь журналиста.

При Гаджи Арипове, при его руководстве газетой меня взяли на работу в отдел пропаганды и агитации обкома партии. Точнее, в сектор печати. Мы с заведующим сектором курировали все средства массовой информации республики, а их, республиканских, городских, районных, объединенных газет было более пятидесяти, да еще телевидение и радио (конкретно какую работу я проводил изложу чуть позже).

Однажды меня вызывает к себе заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Арсланали Мантаевич Мантаев.

– Разговор серьезный и секретный, – предупредил он сразу. – Мы сейчас подыскиваем кандидатуру на должность заместителя председателя Комитета по телевидению и радиовещанию республики. Из тех, кто в наших списках, никто не подходит. У тебя на примете никого нет такого, знаешь?..

– А что долго искать? Вот Гаджи Арипов. Принципиальный, честный человек, профессионал. Да и как долго ему быть редактором молодежной газеты? А еще...

Я замолчал.

– Говори, говори, не стесняйся.

– Трудно живет, Арслана́ли Мантаевич, – семеро детей у него, жена не работает, а зарплата, сами знаете, мизерная.

Арслана́ли Мантаевич опустил голову, потом поднял и уставился на меня:

– Нужен аварец по национальности.

– Он аварец и есть.

– Да-а-а!.. – протянул замзав, – стоит подумать. Предложу руководству.

Где-то через месяц Гаджи Арипов работал уже на новом месте.

Однажды в дверь постучались. В большом кабинете, в котором сидел я, располагались Куйбыш Исабеков, курировавший административные органы, и Станислав Гаджиев, курировавший спортивные и физкультурные организации республики.

– Да, входите, – не помню уже сегодня, кто это произнес.

Дверь отворил... Гаджи Арипов. Он поздоровался со всеми, потом присел на стул, стоявший у моего стола, поговорили о житье-бытье, о здоровье домочадцев, семейных делах. Побыл он очень недолго. Уходя, пожал мне руку и тихо произнес:

– Спасибо тебе.

А спустя несколько лет мы уже встречались чуть ли не каждый день: он работал редактором республиканской газеты на аварском языке «Красное знамя», а я – заместителем главного редактора «Дагестанской правды».

Затем несколько лет мне довелось трудиться бок о бок с Николаем Васильевичем Комиссаровым.

Вообще-то мне прочили партийную работу.

Как-то вызывает меня к себе в кабинет заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Махмуд Ибрагимов (много лет до этого он работал первым секретарем Дербентского горкома партии).

– Тебя ждет Шахбас Азизович Исмаилов (он был секретарем обкома партии по идеологической работе). Послушайся его. Не возражай ему. Не ершишь. (Эта кличка «ершистый» ко мне пристала в обкоме, высказанная однажды моим старшим товарищем по журналистике и работе в обкоме Джонридом Ахмедовым).

Поднялся на третий этаж. Секретарша тут же впустила меня в кабинет. Шахбас Азизович указал рукой за приставной стол, сел напротив, расспросил о семье, родителях (а мы долгие годы жили в одном доме и даже в одном подъезде), и, наконец, доверительным, мягким, отеческим голосом произнес:

– Мы тут посоветовались и решили тебя направить секретарем по идеологической работе в город твоих предков.

Я подсознательно чувствовал, что разговор у секретаря обкома будет касаться моей дальнейшей карьеры. И был спокоен.

– Большое спасибо вам, но я откажусь, наверное.

– Как откажешься, – удивился он. – От такого поста?

– Шахбас Азизович, вы ведь хорошо знаете нашу семью. Мы не привыкли брать «подарки», генетически этого в нас не заложено, а давать «подарки» не в состоянии. Нет у нас ничего. Не сложится у меня там, в нашем Бомбее. Я профессиональный журналист, мне эта работа по сердцу.

Шахбас Азизович долго удивленными глазами смотрел на меня, потом вдруг расхохотался и махнул рукой в сторону двери: иди, мол. Выходя, я услышал сквозь смех короткую фразу: «Я так и знал».

А некоторое время спустя уже заведующий организационно-партийным отделом Магомед Яхъяев предлагал мне ехать на учебу в Москву в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, на что я ответил, что я журналист и писатель и о партийной карьере никогда не помышлял. Он был не только удивлен, но даже ошарашен отказом (охотников на учебу в ВПШ при ЦК было уйма), зато завсектором орготдела Юлия Михайловна Кулигина, сидевшая в приемной и коротко спросившая: «Ну, как?», услышав мой ответ, вслед мне произнесла: «Молодец!»

Настал день, когда меня направили в республиканскую газету «Дагестанская правда», как говорилось в приказе, для усиления и укрепления идеологического отдела, а вскоре я был утвержден заместителем главного редактора. Коллектив был знаком мне, всех я знал и все знали меня. Но... я чувствовал соглядатаев: следили, куда пошел, с кем, в какую сторону (а я ходил обедать в обкомовскую столовую, там вкусно готовили), прислушивались, с кем и о чем говорю.

Как-то в конце мая я предложил корреспонденту идеологического отдела Изопесковой проехать по пионерским лагерям, внимательно ознакомиться с подготовкой к открытию летнего сезона. Изопескова с радостью приняла мое предложение (в ту пору журналисты с удовольствием, если не сказать с энтузиазмом, выезжали в районы республики, особенно в горные). Она вернулась через неделю с готовой статьей. Написана была неплохо, со знанием предмета. Но чувствую некую недоговоренность. Почему?

– Да, много еще недоделок, – призналась она, – не хотелось критиковать.

– Но почему мы должны посылать детей в неподготовленные лагеря? – спрашиваю ее. – Есть за что – критикуй, выскажи свои предложения, как исправить недостатки. Ведь ты же не описатель, а журналист, гражданин...

Второй вариант статьи был написан превосходно. Я завизировал его и сдал в секретариат.

Спустя два дня меня вызывает редактор. На столе – номерная полоса. Подвалом подана статья Ирины Изопесковой. Он поднимает голову: на лице печать недовольства.

- Нам за эту публикацию по шапке дадут?
- За то, что мы помогаем навести порядок?

Я беру со стола газетную полосу, складываю ее вчетверо, выхожу из редакции и направляюсь в обком партии. В приемной второго секретаря Виктора Александровича Коробейникова несколько посетителей. Подхожу к секретарше и шепчу на ухо:

– Тетя Таня, мне на минутку к нему, скажите по номеру нужно кое-что уточнить (мы немало проработали в одном коллективе, а точнее восемь лет). Она встает, входит в кабинет, тут же выходит и кивает головой: мол, жди. Как только посетитель покидает кабинет второго секретаря, я захожу, и, не вдаваясь в подробности, разворачиваю перед ним газетную полосу:

– Виктор Александрович, я очень извиняюсь, что отрываю вас от партийных дел, но мне хочется, чтобы вы хотя бы по диагонали прочитали эту статью и высказали свое мнение.

Он берет ручку и склоняется над статьей:

– Почему же по диагонали? Тут каждая строка важна. Так, так, вот оно что, вотчина Даидова (а пионерские лагеря были профсоюзные и председателем Дагсовпрофа в ту пору являлся Д. Даидов).

Он дошел ручкой до последней строки, на мгновение задумался и... размашисто расписался.

Я снова вчетверо сложил полосу, поблагодарил, извинился за «украденное» время, мы обменялись рукопожатием и я вышел из кабинета.

Николай Васильевич встретил меня, недовольно ворча:

– Кто тебя просил идти ко второму секретарю (я понял, что тот позвонил). Если каждый будет бегать...

– Это чтобы нам по шапке не дали.

На следующий день «Дагестанская правда» вышла в свет со статьей Ирины Изопесковой.

Надоела мне вся эта мышинная возня, захожу однажды в кабинет: читает номерную полосу (к его чести, он был большой труженик). Николай Васильевич, говорю, вы же взрослый человек, прожили большую жизнь, прошли войну, знаете всю кухню кадровой расстановки, так неужели вы думаете, что меня, Бахшиева, назначат редактором? Редактором по положению, установленному ЦК, должен быть только русский. Так что можете быть спокойны за свое место.

Он поднял голову, затем опустил, не произнеся ни слова, а я вышел, притворив дверь.

А ведь так и было на самом деле.

Такова была система.

Когда будучи заведующим отделом пропаганды и агитации обкома партии Юсуп Бигаев, обсудив в отделе, предложил первому секретарю обкома Магомеду Юсуповичу Юсупову мою кандидатуру на должность главного редактора «Дагестанской правды», тот выслушал Бигаева и сказал: «Я бы, не задумываясь, внес вопрос на бюро обкома, но сам понимаешь – отдел ЦК не поддержит».

Об этом разговоре мне позднее поведал сам Юсуп Бигаев.

В связи с крупной государственной датой на коллектив редакции было выделено две высокие награды – медаль «За трудовую доблесть» и орден Октябрьской революции. Коллектив загудел как муравейник, редактор ушел в отпуск. Претендентом на орден из уст некоторых сотрудников звучало имя заведующего отделом промышленности Олега Санаева: о столь высокой награде он и не помышлял. Присвоение этого ордена, а

он был учрежден недавно, требовало особых, высоких заслуг перед государством.

На открытом собрании, как и ожидалось, многие принялись расхваливать заведующего отделом.

Пришлось выступить и разъяснить коллегам, что кандидатура заведующего в верхах не пройдет, послужной список его не богат, а что касается редактора, то он внес заметный вклад в развитие дагестанской журналистики, прошел большой и богатый событиями путь, был участником Великой Отечественной войны... А к медали можно представить заведующего. Он молод и еще успеет получить более весомую награду.

К ордену представили редактора.

Из отпуска Николай Васильевич вышел отдохнувший, умиротворенный. О своей награде даже не заикнулся. Не подал и виду, знает ли о бурном собрании, прошедшем без него (я был уверен, что угодники сообщили, даже кое-что и приврав в свою пользу).

На пенсию провожали его с почетом. В огромном кабинете собрался весь коллектив редакции. Стол был богато накрыт. В адрес провожаемого звучали красивые слова, все хотели высказать цветистые фразы. Наконец, запал остыл.

С пятого этажа Комиссарова в вестибюль провожал я. Он не хотел – я настоял. Вышли на улицу. Я решил остановить такси – отказался. Глаза его смотрели грустно. Он пожал мне руку и тихо, с дрожью в голосе произнес: «Спасибо тебе». Выдержал паузу: «Если бы не интриганы, мы с тобой хорошую газету делали бы». И медленно пошел к остановке маршрутного такси.

И вот новый редактор – Галина Федоровна Бейбутова (девичья фамилия Баринова). Душа-человек, трудолюбива, как пчелка. Читала все полосы. Каждый день уходила домой с двумя набитыми газетными материалами увесистыми сумками и утром возвращала их. Боялась не по назначению потратить даже рубль бюджетных денег. В коллективе все ее называли мамой – и

молодые журналисты, и «старики». Был случай, когда один из сотрудников написал письмо в министерство по печати, то есть руководству, что каждый день она уходит домой с полными сумками добра... Когда информация дошла до редакции, хохот стоял невероятный...

Я предложил ей сделать газету более интересной, то есть читабельной, приблизить к читателю, завести новые рубрики, полосы. Она прислушалась, поддержала меня – стали регулярно выходить полосы «Твой собеседник», «В мире тайн и открытий», на страницах появилась публицистика, фельетоны, крупные материалы о знаковых людях республики под рубрикой «Портреты без ретуши»...

Она умела поощрять своих журналистов и защищать, когда те оказывались в непредвиденной, непредсказуемой ситуации.

Однажды утром, развернув свежий номер газеты, я был удивлен... развороту. Он весь был посвящен проекту Закона о Государственной службе. Публикация проекта не планировалась и никто не ведал, что он срочно будет обнародован – очевидно, прислали из Правительства поздно вечером. Я решил прочитать его, не откладывая на свободное время. И был ошарашен: в нем подробно говорилось о всех льготах, предоставляемых чиновникам: бесплатных квартирах, бесплатных санаторных путевках, бесплатном проезде до места назначения, оказании материальной помощи для ремонта квартир, о пенсиях и так далее, и так далее.

А на дворе были девяностые годы, самые тяжелые, безденежные; слова демократов не соответствовали их делам, кошельки были пусты, пожилые люди-дагестанцы копошились в мусорных баках – такой экзотической картины ни мы, ни наши отцы и деды не знали.

И я выступил с публицистической статьей, которая называлась «Я б в чиновники пошел». Я писал

ее простым, доходчивым языком, словно беседовал с товарищем: если сегодня меня спросили бы, кем ты хочешь стать, я ответил бы – чиновником. И вот почему. И перечислял все льготы, изложенные в проекте Закона. А завершал статью картиной тяжелой жизни и трагедии героя Гоголя Башмачкина. Акакий Акакиевич тоже был чиновником. И долгие годы копил деньги... на шинель. И вот, наконец, мечта его жизни осуществилась. Но однажды вечером, возвращаясь домой, на мосту воры сняли с него шинель. С горя несколько дней он пролежал в постели. И умер.

Дом печати, в котором располагались все ведущие республиканские газеты, был взбудоражен. Журналисты думали-гадали: что-то будет? Проглотят? Замнут? Закроют глаза и уши? Рывкнут?

На следующий день редактору позвонил «кадровик» из верхов (то есть из Госсовета, в молодые годы я ему помог устроиться в «Комсомолец Дагестана», затем он работал секретарем райкома партии, потом пошел вверх и дошел до высот), а чуть позже позвонили из Правительства: ее приглашал на «беседу» заместитель Председателя Правительства республики.

Вернулась она к концу дня. Не заходя в свой кабинет, вошла ко мне, устало опустилась на диван: видимо, не сладко ей пришлось в кабинетах «больших людей».

– Что же ты такая расстроенная? – улыбнулся я. Надо было поднять настроение.

– Да брось ты ерничать... Иди со своими шутками...

– И пойду. Говори – куда.

– Там страсти разгорелись. Принимай, говорят, самые строгие меры.

– Ну и принимай.

– А как я приму? За что? За какие проступки?

– Ох, хотел бы я посидеть в зале суда с кем-нибудь из них. И вообще, почему они тебя вызвали, а не меня? Ведь взбаламутил воду-то я.

Она вперила взгляд в мое улыбающееся лицо и вдруг сама улыбнулась, махнула рукой, и со словами «да ну тебя» вышла.

На следующий день на моем столе заголосил правительственный телефон. Наконец.

Поднимаю трубку: знакомый голос:

– Что будем делать?

– Радоваться жизни.

Пауза.

– Я знаю твой характер – ершистый. Но меры примем.

– Не возражаю. А потом пойдем в суд. И над вами все будут потешаться: на воре шапка горит? Послушай меня внимательно: в статье не названа ни одна фамилия чиновника – это раз, не говорится о высоких чиновниках власти – это два, проект следовало опубликовать в бюллетене для внутреннего пользования, который издается в Совмине, а не выставлять на всенародное обозрение бедствующему народу – это три, а если вам нужно кресло заместителя редактора, а я знаю, кто на него зарится, то пожалуйста, но учтите, что здесь надо работать, а для этого мозги иметь – это четыре.

Этим разговором страсти как будто утихли.

Шли дни. Вышел Указ о присвоении мне почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Спустя пару недель приглашают в Госсовет на вручение награды. В зале заседаний яблоку негде упасть. Одни – в ожидании орденов, другие – медалей, третьи – почетных грамот... Я сижу рядом со старым своим товарищем – деканом химико-биологического факультета, профессором Абдуллой Гасаналиевым. Тихо так разговариваем, улыбаемся. Вдруг произносят мою фамилию: приглашают. С улыбкой на лице (она никак не хочет сойти с лица, как ни стараюсь казаться серьезным) выхожу к трибуне. Председатель Государственного Совета Магомедали Магомедович Магомедов тоже с улыбкой правой рукой крепко жмет мне

руку, левой – протягивает коробочку с нагрудным знаком и удостоверением к нему и тихо произносит: «Я б в чиновники пошел», потом твердым голосом, будто в приказном порядке, продолжает: «Держите свое перо острым».

Галину Бейбутову сменил Раджаб Идрисов. При нем в газете продолжались рубрики, жанры, полосы, твердо закрепившиеся и понравившиеся читателям.

Спустя год я перешел на работу заместителем главного редактора в общественно-политический еженедельник «Махачкалинские известия». Газетой руководил Нариман Гаджимурадов, трудившийся ранее в «Дагестанской правде» в сельхозотделе, а затем заведующим идеологическим отделом. Выходила она в свет раз в неделю на шестнадцать полосах. Тандем с редактором у нас был вполне здоровый. Прежде всего мы меняли дизайн газеты, осовременили ее, убрали с полос всякие линейки, рамки, черноту, увеличили количество страниц до двадцати четырех, а затем первую и последнюю страницы стали выпускать в цвете. Разнообразили газетные жанры: стали публиковать критические статьи, фельетоны, публицистику, крупные материалы о видных и знаковых людях республики, поднимали проблемы, и все получалось и удавалось благодаря опытным журналистам, ученым, научной и технической интеллигенции, которых мы сумели привлечь к нашей работе. Только одной своей цели я не смог добиться: хотел перевести «Махачкалинские известия» на большой формат, ну как «Дагправда». Не сумел. А может, не успел.

Через три года нам направили нового редактора из городской администрации Тимура Абдурахманова. Количество страниц увеличили до двадцати восьми полос, затем до тридцати двух, однако, пришлось перейти опять на двадцать восемь, поскольку сильно возросла стоимость бумаги и типографских услуг. Стала сказываться нехватка профессиональных журнали-

стов. Фельетоны, критические статьи, публицистика появлялись все реже: время пошло другое – проблемы забалтывались, а критика стала и нежелательной и неудобной. А точнее – пустым звуком. На нее никто не реагировал. И общественно-политическая газета стала перевоплощаться в информационно-отчетную.

Разные времена.

Разные люди.

Разные характеры.

Разное видение жизни и решения насущных проблем.

Разный менталитет.

Все это вкупе помогло мне понять человеческую сущность.

10

Я отошел от канвы сюжета, чтобы не забыть хоть пару слов рассказать о редакторах, с которыми мне довелось работать, с кем-то в тандеме и с удовольствием, а с иными с напрягом, почему и прошу прощения у читателя. Не знаю, интересно ли ему о них знать, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. А они были заглавными, важными словами в моей, так сказать, песенной дороге в журналистике.

Итак, вернусь уже к своей работе в «Комсомольце Дагестана».

Однажды в дверь робко постучались. В нашей просторной комнате, в которой стояли три стола и диван, кроме меня никого не было. Коллеги с утра ушли по заданию. За окном, выходявшим на приморский бульвар, смеялось и потело лето.

– Входите.

Дверь открылась и в кабинет робко вошла девушка. Было ей лет двадцать-двадцать два. Лицо заплаканное. Глаза покраснели от слез.

– Кто вас обидел? Что с вами случилось?

Она попыталась что-то произнести, и вдруг разрыдалась, вся трясась, закрыв лицо руками. Я встал, усадил ее на диван:

– Поплачь, поплачь, не стесняйся, успокоишься, потом поговорим.

Выплакавшись, она достала из сумочки платок, вытерла лицо, глаза, и, наконец, печально произнесла:

– Меня директор уволил с работы.

И всхлипнула.

И вот что она мне поведала. Работала продавцом в магазине «Спутник» на улице Гагарина, была секретарем первичной комсомольской организации. Коллектив славился среди горожан тем, что часто получал импортные промышленные товары. Как-то в магазин поступила большая партия плащей болонья итальянского производства. На прилавки не выставили ни один. Вся партия ушла с черного входа. Комсомолки возмутились, пошли к директору, а тот на них накричал, велел разойтись по рабочим местам, а секретаря комсомольской организации уволил с работы.

Я успокоил девушку, отправил ее домой, обещав заняться этим «болонским» делом.

На следующий день я отправился в «Спутник». Директор был на месте (по сегодняшний день помню его фамилию – Исрапилов, симпатичный молодой мужчина). Факт приема плащей вообще отрицал, документацию – тем более: если не было плащей, какие могут быть документы? Логично ведь. В беседе с продавцами по их виду и уклончивым ответам сразу понял, что они запуганы угрозой потерять работу: ведь уволил же их вожак за «острый язычок». Следующий визит мой состоялся в отдел торговли горисполкома (он размещался в те годы на улице Пушкина, в двухэтажном доме, через дорогу от нашей редакции). А вот здесь мне показали все необходимые бумаги, которые свидетельствовали, что болоньи были, большую партию получил магазин «Спутник». Потом я направился в горком комсомо-

ла (он располагался на улице Маркова, напротив нынешнего Министерства сельского хозяйства), где еще никто и слыхом не слыхал, как директор «Спутника» поступил с честным и бескомпромиссным комсомольцем, более того секретарем первичной комсомольской организации. Ну и зашевелились здесь, забегали.

Я возвращался после работы домой, когда ко мне подошел молодой мужчина.

– Слышал, ты написал статью против Исрапилова. Не надо ее печатать. Забери и разорви. И покажи мне квартиру, где ты живешь: открой просто форточку, больше мне ничего не надо.

Откуда и от кого он узнал, где я живу? – спросил я себя, следуя дальше по улице, ибо уже поравнялся со своим домом.

– Во-первых, я против Исрапилова ничего не имею. Я говорю об импортном товаре, который «ушел» налево. Кто его увел – это дело ОБХСС. Во-вторых, незаконно уволена продавец, секретарь комсомольской организации. Как бы ты поступил?

Мой попутчик долго молчал.

– И все-таки оставь форточку открытой и укажи дом. Ну сколько тебе заплатят за статью? Рублей десять, пятнадцать. А в своей комнате ты найдешь пачку денег.

– Мне дороги свои десять рублей.

– И все-таки оставь форточку открытой.

Форточку я не открыл.

Статья вышла в свет.

Исрапилова сняли с должности.

Комсомольского вожака восстановили на работе.

Год спустя по пути на рынок №2 как-то непроизвольно, словно ноги повели, зашел в спортивный магазин. Глянул – за прилавком рядом с продавцом стоит – кто бы вы думали? – Исрапилов. Поздоровались как старые знакомые.

– Ты здесь какими судьбами? Работаешь? – мне было интересно услышать ответ.

Она попыталась что-то произнести, и вдруг разрыдалась, вся трясась, закрыв лицо руками. Я встал, усадил ее на диван:

– Поплачь, поплачь, не стесняйся, успокоишься, потом поговорим.

Выплакавшись, она достала из сумочки платок, вытерла лицо, глаза, и, наконец, печально произнесла:

– Меня директор уволил с работы.

И всхлипнула.

И вот что она мне поведала. Работала продавцом в магазине «Спутник» на улице Гагарина, была секретарем первичной комсомольской организации. Коллектив славился среди горожан тем, что часто получал импортные промышленные товары. Как-то в магазин поступила большая партия плащей болонья итальянского производства. На прилавки не выставили ни один. Вся партия ушла с черного входа. Комсомолки возмутились, пошли к директору, а тот на них накричал, велел разойтись по рабочим местам, а секретаря комсомольской организации уволил с работы.

Я успокоил девушку, отправил ее домой, обещав заняться этим «болонским» делом.

На следующий день я отправился в «Спутник». Директор был на месте (по сегодняшний день помню его фамилию – Исрапилов, симпатичный молодой мужчина). Факт приема плащей вообще отрицал, документацию – тем более: если не было плащей, какие могут быть документы? Логично ведь. В беседе с продавцами по их виду и уклончивым ответам сразу понял, что они запуганы угрозой потерять работу: ведь уволил же их вожак за «острый язычок». Следующий визит мой состоялся в отдел торговли горисполкома (он размещался в те годы на улице Пушкина, в двухэтажном доме, через дорогу от нашей редакции). А вот здесь мне показали все необходимые бумаги, которые свидетельствовали, что болоньи были, большую партию получил магазин «Спутник». Потом я направился в горком комсомо-

ла (он располагался на улице Маркова, напротив нынешнего Министерства сельского хозяйства), где еще никто и слыхом не слыхал, как директор «Спутника» поступил с честным и бескомпромиссным комсомольцем, более того секретарем первичной комсомольской организации. Ну и зашевелились здесь, забегали.

Я возвращался после работы домой, когда ко мне подошел молодой мужчина.

– Слышал, ты написал статью против Исрапилова. Не надо ее печатать. Забери и разорви. И покажи мне квартиру, где ты живешь: открой просто форточку, больше мне ничего не надо.

Откуда и от кого он узнал, где я живу? – спросил я себя, следуя дальше по улице, ибо уже поравнялся со своим домом.

– Во-первых, я против Исрапилова ничего не имею. Я говорю об импортном товаре, который «ушел» налево. Кто его увел – это дело ОБХСС. Во-вторых, незаконно уволена продавец, секретарь комсомольской организации. Как бы ты поступил?

Мой попутчик долго молчал.

– И все-таки оставь форточку открытой и укажи дом. Ну сколько тебе заплатят за статью? Рублей десять, пятнадцать. А в своей комнате ты найдешь пачку денег.

– Мне дороги свои десять рублей.

– И все-таки оставь форточку открытой.

Форточку я не открыл.

Статья вышла в свет.

Исрапилова сняли с должности.

Комсомольского вожака восстановили на работе.

Год спустя по пути на рынок №2 как-то произвольно, словно ноги повели, зашел в спортивный магазин. Глянул – за прилавком рядом с продавцом стоит – кто бы вы думали? – Исрапилов. Поздоровались как старые знакомые.

– Ты здесь какими судьбами? Работаешь? – мне было интересно услышать ответ.

– Да, – коротко ответил он.

– И кем?

– Директором. Если что нужно – заходи. Помогу.

– Признайся честно: обиду на меня держишь?

Он улыбнулся: на удивление улыбка была искренняя:

– Ничуть. На ОБХСС – да. На тебя ничуть. Если что нужно – обращайся ко мне.

К своему счастью (а может, к огорчению?), я никогда ни у кого ничего не просил. Никогда и ни у кого не брал в долг, не брал кредит, не покупал в рассрочку...

11

Письмо, поступившее в редакцию из аула Гапшима, было написано детским почерком дрожащей рукой. В строках явственно так и сквозила боль и горечь. Маленькая горянка просила о помощи.

Девочка заканчивала седьмой класс и учитель физкультуры настоятельно, упорно добивался у ее матери выдать дочь замуж за него. А она так мечтала поступить в медицинский техникум, получить образование и работать в родном селе. И мать того же желала – хотя бы одна дочь получила образование: старшая, закончив шесть классов, пошла трудиться в колхоз – в семье мужчин не было.

Я решил сам поехать в Гапшима, а не поручать этот довольно острый и серьезный сигнал корреспонденту: интуиция подсказывала, что в дрожащих строчках кроется не только проблема семиклассницы, но и многих девочек-горянок.

Срочно созвонился с первым секретарем Акушинского райкома комсомола Наби Магомедовым и поставил в известность, что завтра после обеда буду у него, дабы он никуда не уезжал. В полдень он меня встречал на площади райцентра, у автостанции. Коренастый, широкоплечий, он улыбался во весь рот:

– Наконец-то и к нам приехал. Что же тебя привело?

Я протянул ему письмо. Он внимательно прочитал его, еще раз пробежал глазами:

– Да, имеет место быть, как выражаются на официальном языке.

– А вы для чего здесь?

– Так это же традиция такая. Она не сегодня завелась.

– Ладно. Поехали изучать эту вашу традицию, от которой дети плачут.

– Ты что, друг. Сейчас поедем пообедаем, а завтра – в Гапшима.

– Это твой мотоцикл? Вот который рядом с тобой? Давай взбирайся.

Я крепко уселся на заднее сиденье. Наби, сокрушенно покачивая головой, резко нажал на педаль, мотор взревел и мотоцикл рванул с места в карьер. Узкая дорога, разматывавшая спирали, была каменистой, справа стыла громада горы, ее каменное туловище источало холод, слева от нас уходило вниз ущелье, а за ним в щедром золоте солнца грелись покрытые скупой зеленью горы.

Ехали мы долго. Казалось, недовольному реву мотора, кочкам, толчкам, поворотам не будет конца. Дорога неожиданно вытолкнула нас в аул. Мотоцикл резко затормозил, накрыв нас каменной пылью.

– Вот тебе и Гапшима.

Я впервые видел аул, настоящий аул. Не с домами, покрытыми шифером или железом, а с саклями. Каменные сакли, каменные улочки и дорожки. И эти камни в знойный летний полдень дышали холодом. Да и весь аул был поделен надвое: половина стыла в тени, другая грелась, омытая солнечным теплом. В мелкой речке, протекавшей по аулу, в ее чистой воде лежали буйволы и лениво жевали невидимую жвачку.

Автора письма мы искали долго, пока сидевший на пригретом солнцем камне горец не указал в сторону сакли, стоявшей в тени. Там в дверях стояли женщина с девочкой. Беседовали мы недолго, потому что ситуация была уже ясна. Следующий наш визит с Наби был в школу. Здесь, конечно, поднялся переполох. И директор, и учителя пытались убедить, что девочки сами не желают заканчивать школу.

Я попросил принести классные журналы за несколько последних лет. Заминка. Чувствую – не желают. Тут вмешался Наби и принялся долго и жестко что-то говорить им на даргинском языке. Мы с Наби перелистали несколько десятков классных журналов и выявили удручающий факт: за последние годы ни одна девочка не получила высшего образования – они просто не доходили до десятого класса, и лишь единицы сумели доучиться до седьмого-восьмого класса. Потом познакомились с «женихом». Учителю физкультуры было лет тридцать и объяснение его было банальное и смешное: если на ней сейчас не женюсь, ее перехватит другой... Тут вмешался и директор: мол, в ауле девочек мало, а парней перебор. Ну в конце концов, – стали убеждать мы с Наби в один голос, – сватайте девочек, дайте им возможность окончить школу, техникум, вуз, а там и женитесь.

– А если передумают? – вдруг спохватился «жених», – в городе жизнь другая, поумнеют, передумают...

– Если нравишься – не забудет, а не нравишься – как лепить семью? – возмутился Наби.

Разговор был долгий. Выезжали из аула, когда кончался день.

Наби остановил мотоцикл у своего дома.

Голова моя гудела от рева мотора, уши заложило пробкой.

– Ты давно едешь на мотоцикле? – спросил Наби.

– Я? – Вопрос удивил меня. – Никогда не сидел за рулем. Не могу вспомнить, сидел ли вообще и в люльке.

Наби непонимающе уставился на меня.

– Ты что... в первый раз? – нараспев произнес он. – И ни слова не сказал? Вап-па-па...

На ужин Наби пригласил и своих друзей. А утром вместе с ним мы были у первого секретаря Акушинского райкома партии Патимат Кайтбековой. Это была крутого нрава женщина, жесткая, твердая в решениях, жила, дышала своей работой и не хотела верить приводимым мною фактам: видите ли, мы не знаем, что творится у нас в доме, а корреспондент из города приехал и нам глаза открыл... – возмутилась она. Стоило вступить в разговор Наби и подтвердить мною сказанное, Кайтбекова весь свой гнев обрушила на него:

– А вы чем занимаетесь? Почему не знали...

Один за другим кабинет заполнили заведующие отделами райкома партии и райисполкома, и когда заведующая отделом образования, набравшись то ли смелости, то ли подстегнутая совестью, встала и призналась, что происходящее в ауле Гапшима – старая болячка, и никто ею не занимается, я встал, попрощался со всеми и направился к дверям.

– Товарищ корреспондент, мы примем все меры, наведем порядок, накажем кого надо, только прошу вас, не пишите в газету.

– Простите меня, но я приехал, чтобы увидеться с девочкой и ее матерью, которые слезно просили помочь им. И не писать... простите, не имею права.

Я открыл дверь.

– Товарищ корреспондент, прошу вас...

– Не надо просить.

Спустя неделю в республиканской газете «Комсомолец Дагестана» была опубликована моя статья под заголовком «Сватовство по-Гапшимски».

На следующий день встречаю на улице профессора Даггосуниверситета, с которым у меня были товарищеские отношения.

– На тебя очень обиделся Расул Магомедович (это был крупный ученый-историк). Опозорил, говорит, на весь Дагестан меня сын моего брата Миши (до войны наши семьи жили на улице Буйнакского, 8, на четвертом этаже в четырехкомнатной квартире – две комнаты занимала наша семья, а две – Магомедовых).

– Не пойму, чем я мог его обидеть?

– Своей статьей.

– А он-то тут при чем?

– Так он ведь гапшиминец.

– Ну откуда мне знать, что он гапшиминец?

– А если знал бы? – Он хитро уставился в мои глаза.

– Написал бы.

– Я так ему и сказал. Я знаю своего студента. – И он, улыбаясь, пошел своей дорогой.

12

Первый секретарь обкома комсомола Абдулатип Гаджиев приглашает меня к себе. Утро. На приеме еще никого нет. Захожу в кабинет без стука, здороваюсь, сажусь за приставной столик. Он поднимается из-за большого стола и садится напротив: лицом к лицу.

– Я как-то тут подсчитал, сколько раз ты выступил в газете за три месяца и...был рад и удивлен – двадцать восемь. Писучий.

– Смущает писучесть?

– Из двадцати восьми статей – восемнадцать критические.

– А-а-а, вот что смущает.

– Да нет, я не против. Если есть за что – критикуй, обличай, это уж твоя работа. Я вот чего тебя позвал: завтра пойдем вместе в университет, на отчетно-выборную комсомольскую конференцию. Мы там учились, кому как не нам интересны и близки проблемы комсомольцев нашей альма-матер.

На следующий день вместе отправляемся на конференцию. До ее начала сидим в актовом зале в первом ряду, потом его приглашают в президиум, я остаюсь один, слушаю отчет секретаря комсомольской организации Муху Алиева и все больше и больше чувствую неудовлетворенность от доклада. Я не услышал, что за последние годы что-то значимое, интересное появилось в работе молодежной организации вуза. И задался задачей сравнить ту работу, которую проводили мы в бытность студентами (а я входил в состав бюро факультета, выпускал газету и т.д.) и что потеряно нашими последователями.

После выхода в свет моей статьи меня снова пригласили в обком комсомола: звонила уже секретарша. Абдулатип Гаджиев сидел за столом хмурый, удрученный.

– Что же ты натворил? Как же ты мог?..

– А что я натворил? – удивился я.

– Мы должны были назначить его первым секретарем горкома комсомола, его кандидатура была одобрена, а тут твоя статья... Утром является он и отказывается от нового назначения. Как же я пойду руководить комсомольцами города, если вы не одобрили мою работу в университете? – шумел он. Я и так и этак, честно скажу – стал винить тебя, а он: газета – ваш орган, значит, и ваш голос. Он прав. Что же делать?

Долго думали – и ничего не придумали. Только через год Муху Алиев пошел работать в горком комсомола.

А со мной не разговаривал, наверное, года два.

Однажды летом, в знойный воскресный день, он шел по пляжу со своими малышами. Увидев меня, а я был тоже с детьми, подошел с улыбкой, мы пожали друг другу руки, словно между нами ничего и не было.

Чем мне понравился Муху Алиев? Своей принципиальностью. Достоин – цените, не достоин – и нечего выдвигать. И кем бы в дальнейшем он ни работал, ка-

кую бы должность ни занимал, а был он и секретарем Советского райкома партии города Махачкалы, и заведующим организационно-партийным отделом обкома КПСС, и первым секретарем обкома, а затем рескома КПСС, и Председателем Народного Собрания, и Президентом Республики, он ни на йоту не изменял своим принципам. Точнее и вернее – не поступался своими принципами.

При встречах мы всегда обменивались улыбками и крепким, мужским рукопожатием.

13

Мы выполняем важное задание (так нам сказал редактор, даже больше – важное поручение партии и комсомола: проверить работу «комсомольских прожекторов», разбросанных по рыбзаводам). «КП» были боевыми органами комсомола, которые бичевали ту-неядство, воровство, очковтирательство, хамство, обман на производстве, безобразия, дразги в семье и т.д. и т.д.

А кто это мы? Я и инструктор Махачкалинского горкома комсомола Саша Дрокин. Он в любой безвыходной ситуации мог найти выход. Сумел «выбить» на каком-то (только ему известно, очевидно) автопредприятии выдавшую виды «Волгу». А ехать нам надо было вдоль моря по рыбзаводам, протянувшимся от Махачкалы до Каякента. Но нас... постигла неудача. Вдоль столь длинного пути мы не увидели не только «прожектористов» и их труд – стенгазеты, «крокодилы», иные бичующие средства воспитания, но не встретили даже комсомольцев. Ну хотя бы один повстречался... Только одинокие сторожа скучали под навесом полуразвалившихся опаленных солнцем деревянных бараков, из которых выветривался запах сельди. Да и запаха почти не было. Только море искрилось, что-то

нашептывая белой пеной мокрому песку, и жара распекала золотистый берег.

Об обеде и речи быть не могло. Мы перекусили бутербродами с колбасой, которые я взял с собой на всякий случай (в дороге случаются всякие ситуации), сели в приданную нам (как говорят в армии) колымагу, но она зачертыхала, забуксовала и отказалась двигаться. Саша направился к автотрассе за помощью. Вернулся он полчаса спустя на грузовичке, не отличавшимся «бодростью» от нашей «Волги». Водитель грузовичка взял нас на буксир, и мы поехали, медленно, тяжело, но все-таки поехали. В районе домостроительного комбината трос оборвался, грузовичок радостный умчался, и мы с Сашей пешочком пошли по домам. Был уже вечер.

Накануне выхода очередного номера газеты редактор велел молодым сотрудникам рано утром отнести несколько сот экземпляров в Русский драматический театр и разложить их по креслам (в те годы было принято на совещаниях, конференциях, активах раздавать газеты). Но тут вышел, как говорится, конфуз. Да еще какой – кто бы мог предположить...

Второй секретарь горкома комсомола Дерябкин в ярких красках расписывал трудовые будни молодежи, боевитость «комсомольских прожекторов» на предприятиях, на рыбзаводах, в зале слышались смешки, хихиканья, а за кулисами нервно вышагивал первый секретарь горкома.

Следующий день был горячим – и для горкомовцев, и для нас. Но мы отметали все замечания и упрёки: проверьте факты, они налицо.

Через два месяца Дерябкин ушел на педагогическую работу. Жалко было, конечно, парня. Но моей вины в том не было. Честное слово, я не чувствовал вины. На ответственной работе нельзя быть верхоглядом.

Меня взяли на работу в отдел пропаганды и агитации обкома партии. Точнее, в сектор печати, который курировал всю печать: республиканские, городские, объединенные, районные газеты, издававшиеся на русском и языках титульных народов Дагестана, а также радио и телевидение. Но в основном – печать

Настроение у меня было удручающее. Я привык к живой, творческой работе, а тут строгая дисциплина, сидеть от и до, анализировать газеты – следить за идейным содержанием, тематической направленностью, полиграфическим исполнением – и писать справки, отмечать то-то и то-то, указывать на то-то и то-то, предлагать то-то и то-то. Одно было отдохновение – поездки в районы...

Уходил я из газеты с тяжелым сердцем. Провожал меня весь коллектив – собрались в кабинете редактора (в ту пору руководил Гаджи Арипов), говорили теплые слова, но видно было, что всем, как и мне, тяжело. Мы, молодые, жили одной дружной семьей, радости у всех были общие, никто никому никогда не отказывал в помощи, жили по принципу «один за всех и все за одного». Приведу только один пример. На получение квартир коллектив молодежной газеты не состоял на учете ни в обкоме комсомола, ни в горисполкоме. Не было случая, чтобы кто-то из журналистов получил жилплощадь.

А нуждающимися в жилплощади были все. И я в том числе: женившись, снимал комнату у пожилых людей.

Ну набрался я однажды храбрости, написал о нашем положении письмо в Москву, в Центральный Комитет комсомола. Спутя две недели отец мне говорит: – На тебя Букаров обиделся.

Спокойно так говорит, будто то, о чем шла речь между ним и Букаровым, его и не трогало (а Букаров был председателем горисполкома).

– А чего на меня обижаться, – говорю. – Я его ничем не задел.

– Не надо было, говорит, в ЦК комсомола писать. Пришли бы, говорит, к нему и решили жилищный вопрос без шума и позора...

– Ну да, конечно, будто не знали о нашем положении. А тут позвонили из ЦК в обком партии, из обкома в горисполком – так он обиделся, видите ли...

И стали получать квартиры. Сначала получила Лора Смирнова, стоявшая первая в списке очередников, затем второй (к сожалению, фамилию забыл) и третьим (по списку) я. Двухкомнатную на пятом этаже пятиэтажного дома в районе улицы Гагарина (ныне Азиза Алиева).

Тяжело было расставаться с коллективом, ставшим мне родным. Я успел за эти годы выпестовать и учеников своих. Один из них, Валерий Чисников, работал успешно в Москве, и приезжая летом домой к матери, обязательно заходил ко мне, делился успехами. Другой, Слава Сорокопудов, переехал в Краснодарский край и работал в газете.

Тяжело было уходить из газеты... Заметив мое настроение, отец постарался успокоить меня (он вообще никогда не вмешивался в мои дела, не читал статьи в рукописи – знакомился с ними уже опубликованными в газете, не предлагал помощь – он пустил меня одного в свободное плавание, и я благодарен ему за это – правильно поступил):

– Я вижу, ты удручен. Не переживай. Поработай немного, не понравится – уйдешь снова в газету. Кстати, я тебе забыл сказать, что Зеленин собрался было взять тебя в «Дагправду» заведующим отделом (а Зеленин был редактором, отец – первым его заместителем), да вот обком партии опередил. Так что, не переживай. Я через год-полтора выйду на пенсию – тогда и перейдешь в газету. А разводить семейственность... не полагается.

Но получилось так, что я и через «год-полтора» не ушел. Завсектором общего отдела обкома партии Глеб Александрович Самарев, большой души человек и профессиональный партийный работник, как-то в дружеской беседе, изучив мой характер и зная мое настроение, сказал доверительно:

– Ты уж постарайся семь лет отработать. Семь лет, что дают тебе право на получение персональной пенсии союзного значения. А это 360 рублей в месяц (в пересчете на сегодняшний курс – 36 000 рублей), ежегодная бесплатная путевка в санаторий, бесплатный проезд к месту назначения и обратно, да и разные мелочи.

Так что, прислушавшись к его совету, я отработал не семь, а даже восемь лет. Но... не пришлось пользоваться заманчивыми льготами: события 19-21 августа 1991 года разрушили СССР и все ее структуры и системы.

Итак, началась моя работа в секторе печати. Однообразная, нудная, неинтересная, она меня страшно тяготила. Если бы не мои молодые коллеги, которые сидели со мной в большом светлом кабинете – Станислав Гаджиев, курировавший вопросы спорта в республике, Куйбыш Исабеков – правоохранительные органы, да Залимхан Курбанов из отдела науки и школ, я бы, наверное, и ушел. Но наш маленький коллектив сдружился, а на чай к нам заходили Джонрид Ахмедов – заведующий отделом науки и школ, Магомед Магомедов – заведующий отделом культуры, Глеб Самарев – завсектором общего отдела, Махмуд Ибрагимов – наш замзав, пили крепкий черный чай, хабарничали, старшие учили младших уму-разуму, а младшие вносили в их жизнь живую струю – запахи и ритм молодежи.

Обзоры, рецензии, справки, подготовка текстов докладов мне опостытели и я предложил своему начальству – заместителю заведующего отделом пропаганды и агитации Арсланали Мантаеву интересную, на мой взгляд, идею: организовать кустовые летучки (своего

рода однодневные семинары) для редакторов городских, объединенных, районных газет: они были в своем большинстве малосодержательны, публиковали много ТАССовских материалов, грешили перепечатками из республиканских газет, одним словом, чувствовалась необходимость учебы редакторов. Я предлагал поручить рецензирование, скажем, южного куста – а это лезгинские районы, табасаранские, включая Дербент и Избербаш, ведущему журналисту республиканской газеты «Коммунист», издававшейся на лезгинском языке, а также журналисту «Дагестанской правды», выходившей на русском, составить на их основе обширную справку о работе местной печати, указав на упущения, недостатки, наметить и предложить перечень направлений и тем, которые диктует время, отметить лучшие газеты и предложить распространить их опыт среди других, ну и так далее, и так далее. Затем составить выступление для заведующего отделом обкома или его заместителя, который возглавит представительную группу отдела пропаганды и агитации.

Одним словом, такова была моя инициатива. Да, чуть не забыл: я предлагал одномесечную стажировку-учебу редакторов местной печати в республиканских газетах.

Арсланали Мантаев с таким комплексом предложений ознакомил нашего заведующего Мустафу Вагабова, тот, одобрив, в свою очередь ознакомил нашего секретаря по идеологии Шахбаса Исмаилова.

И мы получили добро.

Первое кустовое совещание прошло в Магарамкенте. И вполне успешно. Для редакторов малой печати эта летучка была как глоток свежего воздуха. Затем летучки состоялись в Сергокале, Хасавюрте, Кизляре... Не буду перечислять все райцентры, куда съезжались журналисты. А разъезжаясь по домам после ужина, организованного хозяевами нашего местопребывания, они искренне благодарили представителей обко-

ма и журналистов республиканских газет за учебу. И чистосердечно признавались, что узнали очень много нового и полезного для себя.

Кустовые летучки стали проходить поквартально. Вошла в практику стажировка редакторов местной печати в республиканских газетах...

И вот однажды заведующий отделом пропаганды и агитации Мустафа Вагабов приглашает меня в кабинет:

– Мы решили командировать тебя в Москву, в сектор печати ЦК. Расскажи о нашей работе, расспроси, как в других республиках, областях, крупных городах руководят печатью. Надо разнообразить нашу работу, поучиться у других, перенять полезный опыт. И передай обязательно Дубие Юсуповичу привет от меня (они с моим дядей Дубией Юсуповичем, доктором исторических наук, профессором, были старейшими добрыми друзьями).

В секторе печати ЦК я ожидал увидеть чопорных чиновников, но... просчитался. Инструкторами сектора печати были двое молодых мужчин, простые в общении, светлоглазые, от них исходила теплая, добрая энергетика. Я сразу почувствовал это, и мы непринужденно вступили в разговор, который вылился в долгую беседу. Они заинтересованно расспрашивали о наших кустовых летучках, вникали во все детали, а я, расхрабрившись, выложил на стол и рецензии, и обзоры газет, и тексты выступлений, которые привез с собой (конечно, не сообщив своему заву, что я повезу), они читали их внимательно и долго, что-то выписывая себе, наконец, когда перелистывать стало уже нечего, отложили ручки и, улыбаясь, заявили, что нас им нечему учить. Как это нечему, не понял я, может, мы что-то не так делаем? Да все вы правильно делаете, был ответ, просто у нас наберется несколько регионов и крупных городов, в которых проводится такая же работа с местной печатью, как и у вас; нового, чего-то сверхор-

динарного нет. Ваши кустовые летучки и стажировки редакторов – очень удачная форма учебы.

– И что же мне делать, уезжать? – озадаченно спросил я.

– Почему уезжать, – удивились они, – мы сейчас направим вас в гостиницу «Россия», поможем с билетом на концерт Аркадия Райкина, который в эти дни проходит в Государственном Концертном зале, в Большой театр, погуляйте по Москве, познакомьтесь со столицей (я им не открылся, что в Москве у меня живут и дядя и тетя, двоюродные братья, и с шестнадцати лет каждое лето шагаю по ее улицам, посещаю музеи и выставки, хожу в кинотеатры, одним словом, знаю столицу не хуже самих москвичей, если даже не лучше).

В завершение нашей долгой беседы я достал из портфеля пару бутылок кизлярского коньяка (в ту пору у входа в парторганы с автоматами не стояли и никогда не ощупывали миноискателями) и одну распили как добрые давно знакомые товарищи.

Сегодня те далекие дни вспоминаю с улыбкой: дались же мне эти кустовые летучки...

За восемь лет, что я проработал в обкоме партии, меня с коллегами дважды направляли на месячные курсы в Бакинскую партийную школу. Чему я был несказанно рад. Ведь мои детство и ранняя юность прошли в этом красивом, добром городе среди милых, добросердечных людей. Когда наша семья переехала в Махачкалу, я долгие годы тосковал по Баку, просто бредил им: он звал меня к себе как родного сына. И бывая в этом солнечном городе, я часами вновь бродил по его проспектам и улицам, обязательно приходил на улицу Папанина, тупик 2, чтобы просто поглядеть на дом, в котором прошли лучшие годы, в котором я познавал законы добра, законы гостеприимства, законы братства.

Первая моя поездка преподнесла мне неожиданный сюрприз, о котором я и помышлять не мог. На вто-

рой день учебы в аудиторию пришел секретарь курсов и известил, что слушатели в недельный срок должны написать автореферат на партийную тему. Я хотел было возмутиться – помилуйте, мы же не соискатели, да потом махнул рукой... И вдруг осенило: напишу-ка об организации учебы редакторов местной печати, то есть о кустовых летучках. И расписался чуть ли не на сто тридцать машинописных страниц – почти объем кандидатской диссертации. Сдал секретарю, успокоился: с плеч долой и из сердца вон. Спустя два дня меня приглашают к директору курсов. За столом – симпатичный мужчина лет пятидесяти с широкой улыбкой на лице. Он встает, пожимает мне руку:

– Товарищ Бахшиев, садитесь пожалуйста. (В Баку моих однофамильцев было предостаточно и ударение в фамилии Бахшиев, как и в фамилии Гаджиев здесь ставили на первый слог).

В беседе, которая прошла за стаканом крепкого чая, пошел разговор о моем реферате. Его заинтересовала наша форма учебы – кустовые летучки, и главное – работа сектора печати. И тут он попросил меня прочитать лекцию на курсе журналистов-редакторов азербайджанских газет.

– Простите, но я не лектор, и никогда не читал лекции. Я по профессии журналист...

– Мы это сразу поняли, товарищ Бахшиев. Не читайте лекцию. Просто расскажите им как журналист журналистам.

Пришлось рассказывать, да не раз и не два – на разных курсах, в разных аудиториях.

После лекций, на переменах, слушатели плотным кольцом окружали меня и задавали вопрос за вопросом: наша работа им оказалась в новинку и вызывала неподдельный интерес.

Восемь лет я проработал в обкоме партии. Мне предлагали должность секретаря горкома партии второго по величине города республики. Я отказался. Мне

предлагали учебу в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, я опять отказался.

Потому что меня звала живая творческая работа.
Я был профессиональным журналистом.
Душа мне не давала покоя.

15

Наконец я в своей среде побратимов-журналистов. Не сказал бы, что в коллективе, откуда ушел, не было хороших людей – наоборот, было немало замечательных, душевных, честных, принципиальных людей, которые научили меня многому в жизни, особенно разбираться в партийной работе и понять суть, уметь различать в общей массе верных, идейных и лизоблюдов, оборотней, карьеристов, проявлять где нужно сострадание, милосердие, а с кем следует – непоколебимость, несогласие с ложными и вредными принципами. Я буквально был покорен высокими человеческими качествами первого секретаря обкома партии Магомед-салама Ильясовича Умаханова, секретаря по идеологии Шахбаса Азизовича Исмаилова, прошедшие огненными дорогами войны, они были удивительно просты в отношении буквально со всеми, никогда не поднимали ни на кого голоса, убеждали собеседника вескими аргументами, все знаменательные праздники встречали в своем коллективе. Преданностью к работе, профессионализмом покоряли заведующий отделом пропаганды и агитации Мустафа Вагабов, заменивший его Абдулгамид Алиев, заведующий отделом культуры Магомед Магомедов, заведующий общим отделом Андриян Ороев, завсектором Глеб Самарев, завфинхозотделом Мухтар Алигаджиев и многие другие, с которыми я работал бок о бок восемь долгих лет, благодаря которым познал, что такое политическая работа, где можно споткнуться и как быстро встать на ноги, как отстаи-

вать свою позицию, если ты уверен в своей правоте, не поступаться своими принципами.

Редакция газеты «Дагестанская правда» была укомплектована достойными людьми. Руководил коллективом Николай Васильевич Комиссаров, участник войны. Отца моего уже не было в живых (он долгие годы был первым заместителем редактора, работал с редакторами Борисом Пономаревым, Леонидом Зелениным, Николаем Комиссаровым). Войну прошли заведующие отделами Анатолий Еремин, Аркадий Вахсман, Игорь Макстман, Люся Евсеева, фотокорреспондент Федор Зимбель, молодые журналисты учились у них не только высокому профессионализму, но и выработке жизненных принципов. Были в коллективе и двуликие янусы, интриганы, льстецы, карьеристы, которые ради упрочения своего положения не гнушались ябедничать, доносить, привирать, чернить... Ну как и в любом коллективе, в любой большой семье.

Меня направили в газету для укрепления идеологического отдела (она больше склонялась к освещению вопросов сельского хозяйства, поскольку редактор был приверженцем этой отрасли). Вот я и принялся за работу: составил перспективный план, наметил проблемы, темы статей, круг авторов, привлек к сотрудничеству большой актив толковых партийных работников, ученых, деятелей литературы, искусства, педагогов. Была заведена рубрика «За богатство и чистоту наших дел и помыслов», под которой в течение нескольких лет публиковались статьи морально-нравственного и этико-эстетического характера. Мне и самому надо было публиковаться и я часто выезжал в командировки.

Из Бабаюртовского района я привез статью по уборке урожая, особо уделив внимание тому, какая воспитательная работа проводится в коллективах колхоза для поднятия духа, энтузиазма. Здесь рабочих стимулировали не только морально, но и материально. Портреты передовиков помещали на Доску почета, в

их честь поднимали флаги, ударникам труда, победителям социалистического соревнования присуждали премии, вручали ценные подарки...

Статью в обкоме заметили. Потом был большой очерк о рабочем человеке – бригадире консервно-баночного цеха Махачкалинского консервного комбината Алике Гамзатове.

Его тоже заметили.

Из совхоза «Рассвет» Кизлярского района привез очерк «Мама Мария». Русская женщина, оставшись после смерти мужа одна, взяла к себе в дом на жительство молодого специалиста, лакца по национальности, его жену, со временем усыновила его, в доме Марии у молодых родились сначала мальчик, потом девочка, и все – дети и взрослые – ее звали «мама Мария», да, только так – «мама Мария».

Через два года я был назначен заместителем редактора: курировал отделы идеологический, науки и учебных заведений, культуры и искусства, информационный.

Шло время. Редактор вышел на пенсию. Его сменила Галина Бейбутова. Началась перестроечная эпоха. Меня потянуло на борьбу с человеческими пороками – развенчивание наших недостатков в быту, в мыслях, в культуре поведения, в городском хозяйстве. На страницах газеты регулярно стали публиковаться мои фельетоны под псевдонимом «Б. Фелмихов». Но самыми серьезными были, я считаю, ряд публикаций в «Дагестанской правде», которые что-то изменили в облике города («что-то» сказано из скромности). Я выступил с фельетоном под заголовком «Шла корова по проспекту»: был период, когда бараны, козы, коровы стали настоящим бичом столицы, – они бродили по улицам, дворам, паркам, обгладывали ветви деревьев, вытаптывали цветы, газоны, создавали заторы на дорогах. На публикацию обратил внимание второй

секретарь обкома партии Виктор Александрович Коробейников. Состоялся бурный разговор с городскими властями. В результате за городом был открыт или точнее построен загон, куда стогнялся «бесхозный» домашний скот, а когда заявлялись хозяева, на них налагался крупный штраф.

...Городской пляж был удручающе запущен. Хотя мне не советовали выступать с критикой, я все же решился: уж очень больно было за город и горожан, которые и имели-то только одно место отдыха летом – городской пляж, да и он был уже запущен. Вскоре началась большая, можно смело сказать, невиданная за последние десятилетия реконструкция пляжа. И однажды, когда я по служебным делам сидел у главы администрации города Саида Амирова, он вдруг прервал наш разговор и тихо произнес: «Я не поверил вашей статье, сам решил съездить, посмотреть, убедиться, два раза ездил...»

...Бульвар по проспекту Ленина (ныне Расула Гамзатова), который протянулся от центральной площади до моста, представлял жалкую картину: литая чугунная ограда растащена (когда-то ее отливали в Ленинграде), газоны и декоративные кустарники вытоптаны, а те, что остались, – не поливали. А ведь это была главная, центральная улица, по которой проезжали и высокие московские гости, и различные делегации. И опять я выступаю со статьей в «Дагестанской правде». Спустя две недели звонят мне из городского Собрания, приглашают на «мероприятие», так и было сказано в трубке. Я исполнял обязанности редактора, и в тот день газету готовил к выпуску в свет, а потому попросил сходить на «мероприятие» заведующего отделом культуры Светлану Кривоносову. Она вернулась в конце дня, возмущается и одновременно смеется: депутатам городского Собрания было поручено ознакомиться со статьей и вот они две недели спустя читали ее, передавая друг другу... Реконструкция бульвара по указанию

Саида Амирова с дальних сроков была срочно переведена на ближайший год. Сегодняшний бульвар – это результат выступления газеты.

В девяностых годах часто приходилось на страницах «Дагправды» давать отповедь зарвавшимся журналистам центральных СМИ за пренебрежительное отношение к «лицам кавказской национальности», а если откровенно – хамское отношение к самым святым ценностям малых народов. По центральному телевидению Светлана Сорокина настойчиво повторяла, своему собеседнику – Колесникову, бывшему прокурору нашей республики, что абсолютно не верит в дружбу народов Дагестана, что это просто блеф. Незнание истории, национальных ценностей народов Дагестана не позволяли ей понять, что не будь этой дружбы, взаимовыручки, братства – не было бы и Дагестана, а просто существовали бы мелкие земли, которые давно подмяли бы под себя соседние страны.

А в «Известиях» некий журналист (подзабыл его фамилию) злопыхательски писал, что фирменный поезд «Махачкала-Москва», провонявшийся запахом вонючей рыбы, зловонием и грязью оскорбляет Москву. И не желал этот пасквилянт понять, что рыбу, привозимую из Дагестана, едят (поедают, да еще с каким удовольствием) москвичи, а не дагестанцы.

Журналистов желтой прессы приходилось учить культуре, тактичности, преподать урок истории, отдельные страницы которой им недосуг было прочитать на студенческой скамье, а может, пренебрегали этими страницами и вышли на тропу журналистики с провалом знаний в голове.

Перестройка осталась незавершенной – ей перекрыл дорогу государственный переворот и развал Советского Союза. Сегодня задаюсь вопросом: незавершенной ли? Может, она и подготовила и смену систем, и развал огромной империи? На разные лады заорали голоса, заскрежетали перья писак – коммунистов ве-

шать, коммунистов вон с должностей, коммунистов – в сталинские ГУЛАГи. По телевидению, по радио, в печати – истошные призывы расправиться с виновниками всех бед – коммунистами...

Наши журналисты республиканских газет – партийной печати – молчат. 19-21 августа 1991 года воздух насыщен тяжелой энергетикой. В Правительство приглашают редакторов газет. Редактор «Дагестанской правды» Галина Бейбутова в отъезде, приходится идти мне. За большим столом сидят руководители всех средств массовой информации, телевидения и радио, новоявленные «вожди» оппозиционных партий и движений – молодые люди с накачанными бицепсами и поломанными ушами. Вот эти последние и являются запевалами, поливают ушатами грязи газеты, требуют работать под их руководством, они готовы «рулить» по-новому. Журналисты, огорошенные, молчат. У меня голова раскалывается от беспредметного шумного разногласия и ора. Наконец, я встаю с места:

– Скажите, пожалуйста, с чьего голоса вы тут разглагольствуете, кто вас уполномочил созвать всех нас на это собрание? Как я понимаю, руководителей республики никто еще не лишал их должностей, и они, я надеюсь, не уполномочивали вас устраивать здесь театрализованное представление. А поскольку вы, оппозиционеры, решили ором оглушить нас, подмять и привлечь на свою сторону, я позволю себе покинуть ваше собрание. Я вас, впрочем, и так часто вижу на пляже... Можно было бы не приглашать.

Я ушел. Вернувшиеся к концу дня коллеги мне рассказали, что после моего ухода разговоры пошли вялые и вскоре все выдохлись.

Между прочим, некоторые из тех оппозиционеров сегодня являются высокими чиновниками, работают, буду объективным, они не плохо, предмет свой знают. Но я с ними не здороваюсь.

Эта наносная ненависть, эта злобная истерия, безусловно, нужна была определенным кругам, чтобы отхватить, как говорится, свой кусок от большого пирога. И жумпелом борьбы стали коммунисты: девятнадцать миллионов коммунистов – колхозники, которые кормили огромную страну хлебом, мясом; рабочие, которые строили дома и города, плавили сталь и добывали уголь, собирали корабли и самолеты; педагоги, которые давали детям знания и воспитывали у них чувство высокого патриотизма; конструкторы космических кораблей и космонавты; солдаты и офицеры, сломавшие хребет фашизму...

Я выступил со своими мыслями в «Дагестанской правде». Статья называлась «Три дня и вся жизнь» и была помещена на первой полосе.

В Дагестане началась полоса «созидания»: начали создаваться национальные движения и национальные фронты. Один шумнее и горластее другого. Озадаченный этой проблемой, рожденной, безусловно, не от хорошей жизни, я в своей статье, опубликованной в «Дагправде», рассуждал: если каждый будет тянуть одеяло на себя и разорвет его на лоскуты, им не обогреешь никого. И предлагал не разбежаться из общего дома, а создать общedaгестанский национальный фронт или движение.

На следующий день у ЦУМа встречаю Сураката Асиятилова и Дибира Магомедовича Магомедова (Суракат – видный общественный деятель, прославленный спортсмен – борец, мы с ним учились в Даггосуниверситете; Дибир после работы в ЦК комсомола в Москве был направлен первым секретарем обкома комсомола Дагестана, затем работал секретарем обкома партии по идеологии, министром культуры, потом перешел на научную работу, защитил кандидатскую, а вскоре – докторскую диссертации). Вот с этими двумя известными и основательными людьми встре-

чаюсь у ЦУМа. Тепло здороваемся и Дибир Магомедович говорит:

– Хорошо выступил, правильно и вовремя. Мы с Суракатом давно прорабатываем вопрос о создании единого общедагестанского движения. Готовим съезд. Обязательно пригласим и тебя.

Потом пошла у меня широкая полоса публицистики. Я пытался и старался понять и решить для себя, да и для моих читателей, почему власть имущие отгораживаются от бед и насущных проблем народа, почему культура оказалась на задворках нового строящегося общества, почему высокие нравственные качества наших отцов и дедов выброшены за борт и набирает силу манкуртизм, почему новой профессией становится попрошайничество...

Как-то наш корреспондент Лариса Дибирова была по заданию у доктора исторических наук Магомеда Джалалудиновича Бутаева (он много лет руководил журналом «Советский Дагестан» и Союзом журналистов Дагестана). Так вот заходит ко мне в кабинет (я уже работал в «Махачкалинских известиях») и смеется:

– А вы, оказывается, были в оппозиции?

– В какой такой оппозиции? – мне стало любопытно.

– Бутаев рассказывал, что вы очень тонко, дипломатично задевали власть имущих.

Магомед Бутаев был моим старейшим хорошим и добрым товарищем, милым и тактичным человеком. И всегда радовался, как профессиональный журналист, моим публикациям.

Ну как не радоваться такой статье, как «Я б в чиновники пошел», которая вызвала злобное негодование у некоторых зарвавшихся чиновников, потерявших уже чувство меры!

Были ли у меня завистники?

Скрывать не буду (да и лукавить не буду): были. И о том знали почти все журналисты «Дагправды». Утром,

когда в редакцию доставляли свежий номер газеты, в котором с первой полосы начиналась моя публицистическая статья, острая, злободневная, мой сосед по кабинету, заведующий отделом политики Мирза Айдунбеков входил с высоко поднятой рукой, зажатой в кулак (так он выражал свое одобрение):

– Михалыч, молоток. – И с улыбкой продолжал: – Теперь жди их хода.

Да как было не ожидать. Ведь им, «маститым» журналистам, было стыдно отдавать пальму первенства представителю какого-то малюсенького этноса. Но как ни пыжились, их статьи были вторичными, повторениями поднятой мною темы или проблемы. Именно повторениями. Своих мыслей, накипевших, мучивших, будораживших ум, у них не было.

Презирал ли я их за это (то есть за плагиат) или осмеивал? Нет. Более того, мы были хорошими товарищами-коллегами. Я понимал, что им тоже надо «проявиться» на страницах газеты, и я им позволял. Кстати, их не надолго хватило. Они вскоре перестали «копировать» мои статьи.

16

Я придумал себе новую рубрику. Свою рубрику. «Портреты без ретуши». Беседы с известными и знакомыми людьми республики о времени, о жизни, о судьбе. С каждым из них я поднимал общественно значимую тему, которая не повторялась в беседе с другими.

Более ста пятидесяти человек стали моими собеседниками, спустя некоторое время Дагестанское книжное издательство выпустило в свет мою книгу «Портреты без ретуши», а чуть позже внушительный том почти в пятьсот страниц «Портреты. XX век в лицах». В нее вошли беседы только с пятьюдесятью тремя знаковыми людьми – государственными и общественными деятелями, учеными, врачами, писателями, по-

этами, художниками, композиторами... Остальные остались на газетных полосах и разворотах.

Первая моя беседа состоялась с народным писателем Дагестана Магомед-Расулом. Прочитав ее уже на странице «Дагестанской правды», мы оба признали, что рубрика может получить долгую жизнь.

Так и случилось. Начатая в «Дагправде» в середине девяностых годов, она просуществовала до две тысячи седьмого года в «Махачкалинских известиях».

А какие люди участвовали в беседе со мной!

Расул Гамзатов. Удивительно общительный, жизнерадостный, мудрый человек. Между нами всегда сохранялись добрые, товарищеские отношения. Мы вместе написали немало статей на различные темы: он внимательно, с ручкой в руке, читал уже набранный на пишущей машинке вариант, расписывался (обязательно визировал), один экземпляр передавал в «Дагправду», с которой дружил, а другой отправлял в Москву, в центральные газеты «Правду», «Известия», «Литературную газету», «Советскую Россию»... Статьи выходили, конечно, за подписью народного поэта Дагестана.

Некоторые литераторы завидовали нашим отношениям, а иные считали, что я работаю с ним в тандеме из карьеристских побуждений (я был не только журналистом, но и литератором. В 1978 году был принят в Союз писателей СССР, уже являясь автором ряда книг рассказов и повестей, рецензии на которые публиковались не только в местной печати, но и в центральной). И вот как-то один из молодых литераторов, подвизавшихся возле Расула, подходит ко мне и будто по секрету тихо говорит:

– Только между нами... На правлении рассматривали издательский план на будущий год. Расул задержал ручку над твоей фамилией и говорит: «Феликс пишет на русском языке, пусть издается в Москве».

Я спокойно выслушал его и тихо тоже отвечаю ему:

– У меня нет денег.

– А деньги тут при чем? О чем ты говоришь? Издательское дело у нас бесплатное, ты что выдумываешь?

– Мне кажется, ты чего-то не понимаешь или лукавишь, – отвечаю ему. – У меня нет денег поить и кормить московских издателей и редакторов, вывозить их на отдых в горы. Нету у меня. Так и передай при случае.

Не знаю, передал ли, да еще сочинив всякой пако-сти с три короба, но отношения наши с Расулом продолжали оставаться прежними, даже стали теплее, когда я открыл свою рубрику «Портреты без ретуши». И из плана выключен не был. И книга вышла в свет.

А беседу я провел с ним не одну. Разговоры по душам мы вели у него в доме: он любил приглашать к себе, не уклонялся ни от какого вопроса, а, бывало, если вопрос его особо «зацепит» – заражался и сыпал афоризмами, пригоршнями мудрых мыслей, которые потом, после обнародования их на страницах газеты, не сходили с уст людей.

Переворот 1991 года, смена общественных систем буквально ошарашили, а можно сказать, и оглушили его. Накопившаяся в душе боль, недовольство униженным положением народа, разрухой в умах и делах требовали выхода и однажды во время очередной беседы он «взорвался», воздев вверх руки:

– Пожилые люди роются в мусорных ящиках, я – народный поэт Дагестана, Герой Социалистического Труда, лауреат государственных и многих международных премий, председатель Союза писателей Дагестана получаю зарплату в пять тысяч рублей, а моя внучка, которая живет в Москве, издает модный глянце-вый журнал, получает две тысячи долларов и ездит на «Мерседесе»...

Дефолт вообще его подкосил. Как-то, проходя по улице Чернышевского, я решил проведать его. Он сидел не в кабинете, как обычно, а в гостиной, постаревший, осунувшийся.

Указал на стул рядом с собой и на мой вопрос о здоровье с дрожью в голосе произнес:

– Все мои деньги сгорели. Все, что лежали на сберкнижке, сгорели. Нищий... Как жить?..

Помню, как писали анонимки в Москву, когда он приступил к строительству дома, мол, на государственные деньги народному поэту возводят дворец из импортных строительных материалов. А строил-то он на свои, кровные деньги, на гонорары, заработанные литературным трудом.

А сосед из зависти бросил в лицо уважаемому человеку, прославившему на весь мир Дагестан:

– Я построю такой дом, что твой рядом с ним будет казаться спичечной коробкой.

И построил.

А дом Расула не ахти какой (я не раз бывал у него). Кабинет – маленький. Спальня – маленькая. Еще одна комната – маленькая. Все они располагались на втором этаже. На первом – гостиная, она же столовая с кухней, открытая, от нее на второй этаж ведет лестница...

Я решил написать материал о всех злоключениях Расула в связи со строительством дома. Он с радостью согласился (я уже заметил, что он никогда не отказывался от интервью и бесед со мной). Говорили мы долго, несколько часов, и шутили, и смеялись, и мудрили. Потом спустились вниз. Патимат Саидовна не хотела отпускать меня, не угостив ужином. Я отказался. Она поставила на стол блюда с фруктами, виноградом, потом подошла к буфету, открывая дверцу, спросила:

– Феликс, коньяк налить рюмочку, из Кизляра привезли.

– Спасибо, Патимат Саидовна (она прекрасно знала, что я не пьющий).

И тут под столом чувствую легкий удар ногой. Это Расул пинает меня.

– Есть сухое вино. Очень вкусное, – предлагает опять Патимат Саидовна.

И тут же нога Расула бьет по моей.

– Лучше крепкого чаю. Я люблю пить чай с виноградом.

– С виноградом? – протяжно и удивленно произносит она. – Не слышала никогда.

Наконец, она разливает нам в чашки чай и поднимается по лестнице наверх. Как только она исчезает, Расул мягко шлепает ладонью по столу:

– Сам не пьешь и другим не даешь. Теперь буду пить чай и закусывать виноградом.

Через неделю в «Махачкалинских известиях» вышел материал под заголовком «Дом, который построил поэт». Он был помещен на цветных полосах: начинался с первой с портретом Расула на фоне дома и занимал всю последнюю страницу.

Утром на рабочем столе звонит телефон.

Поднимаю трубку.

– Феликс, спасибо. Газету не занесешь по пути домой? – в голосе Расула чувствуется тепло радости.

– В такую рань от кого узнали?

– Телефон уже кипит. Скоро буду пить чай с виноградом, – и тихий, радостный детский смехок.

Удивительный это был человек. Его можно было читать как книгу, и не начитаться. Сегодня он – одна книга, завтра – другая, послезавтра – третья. В нем, как в палитре, было очень много красок, а энергетика его согревала буквально всех окружающих.

Однажды, после полудня, мы сидели во дворе. Уходящее майское солнце золотило белые, кремовые, розовые, красные цветы. Миром и покоем дышал маленький сад.

– Расул Гамзатович, вы сами ухаживаете за ними?

Расул задумался, потом медленно произнес:

– Я родился в горах. Вокруг одни камни. Полюбил камни. И только сейчас понял прелесть этих цветов. У меня есть садовник, мой родственник. Вот он и ухаживает.

– И за фруктовыми деревьями?

Он засмеялся, закашлял, и снова засмеялся:

– Дети лезут через забор, срывают фрукты, ломают ветки... Я выхожу во двор с палкой, они – через забор на улицу, глупые, не понимают, что я не смогу угнаться за ними – и оттуда кричат:

– Такой жадный, а еще народный поэт... – и снова заливается теплым смехом. – Я люблю детей, хочу построить большой дом из дерева, и спонсора нашел, буду собирать в нем своих друзей, детей, что может быть чище, благороднее, искреннее малых детей...

Не успел построить.

Это была наша последняя беседа. Через три месяца он покинул нас.

Встречи с крупными масштабными людьми оставляют в сердце и памяти глубокий, неизгладимый след. Мудрые слова, высказанные ими, обогащают человека.

Не единожды я имел удовольствие встречаться и не по пятьдесят минут беседовать с Расулом Гамзатовым, а много раз и помногу часов. И всегда, при каждой встрече, открывал для себя и для читателя его нового, поражался и восхищался неиссякаемой его мудрости и ясности ума.

В одну и ту же реку дважды не входят. И это верно. И потому я редко, очень редко нарушал этот установленный природой миропорядок. Но встречи с Расулом – каждая встреча – обогащала меня глубокими раздумьями, новым видением мира.

Прислушайтесь к мыслям великого человека, к биению его большого сердца.

«Не знаю, как считают другие, но я говорю твердо и убежденно: революция для Дагестана была необходима. Культурная, духовная, социальная революция... Мы стали забывать о том, что дала революция неграмотным, нищим народам, захлебываясь в эйфории свободы. И никто не хочет понять, что же такое свобода».

«Нынешней демократией и свободой я никогда не восхищался. Кто-то сказал: «Когда я вижу социализм, мне хочется капитализма. Когда я вижу капитализм, мне хочется социализма».

«К чему мы пришли? К воровству, махровому бюрократизму, беспардонному обману. Еще Достоевский говорил: «Спросите днем и ночью, дома и на чужбине, что делают в России? Я одним словом безошибочно отвечу: воруют». А я добавлю – в таком масштабе воровство еще не процветало. Его даже ввели в ранг героизма».

«Мне кажется, вся наша литература появилась как результат страдания людей.

Литература должна как факел освещать время, а не быть тенью времени.

Увы, не получается. Даже те факелы, которые горели, потухли. У нас была многокрасочная, многоязыкая литература. Она потеряна. И самое страшное – потерян читатель».

«От кривой палки прямой тени не бывает».

«Когда мне пишется – хочу жить. Когда не пишется, задумываюсь: зачем я живу».

«Мои думы сегодня о людях, об ауле, о судьбе Дагестана. Как многолика, суетна, сумбурна стала жизнь вокруг нас. Смотрю на нее и думаю: это мой Дагестан или не мой Дагестан? Размышляю над тем, ради чего погибли миллионы людей, и среди них мои братья, на войне? Кто виноват в этом хаосе жизни: дорога, по которой мы бредем, или всадник без головы?

...Мы себе путь не выбираем. Путь выбирает нас».

«Счастья не бывает полного и неполного. И если уж откровенно – сейчас счастья нет. Ведь ныне богатые тоже плачут. Почему? Потому, что счастье стало опасно.

Лично я полного счастья не испытал никогда и такого человека не знаю, кто бы его испытал. Для полного счастья одним здоровья не хватает, другим – денег, третьим – времени, а многим – всего этого недостает.

Сейчас надо думать, как избежать несчастья.

И вот что еще скажу: сейчас не за счастьем надо гнаться и бояться не другого мира, а позора. А позор случится».

«Идеология всегда была и она всегда есть. А вот свободы никогда не было и сейчас ее нет. Голодной свободы и нищей независимости не бывает.

Идеология, возвышающая один класс, позволяющая одной партии править всеми, такая идеология ущемляет человека.

Не перестают твердить, что сегодня всем дарована свобода. Ложь. Что всем дарована независимость. Она пагубна. Надо, наконец, понять: всем места хватит на Земле, как звездам в небе и волнам в море.

Моя идеология – это чувство единой семьи и братства».

«Я часто рассуждаю сам с собой: мы клянемся, кладя руку на Конституцию, а не на Коран или Библию. Между тем Конституция постоянно меняется, а Коран и Библия живут века и тысячелетия. Коран – природа, а Конституция – погода».

«Стихи – не молитва. Молитва от повторения становится лучше, а стихи от повторения портятся. Нет, поэзия не молитва, но... молитвенность в ней должна быть, ибо поэт пишет, словно в последний раз, и влюбляется, словно в первый раз».

«Малым народам нужны не большие кинжалы, а большие друзья. Я думаю, и русские молятся сейчас, чтобы на Северном Кавказе был мир».

Я встречался и беседовал с Расулом как журналист, а не как писатель. И он это прекрасно сознавал и, будучи мудрым горцем, распахивал свою душу. Когда с публикацией знакомились читатели, в газетных строках они чувствовали, ощущали буйную энергетику. Как-то журналист и литератор Иззат Алиев сделал мне следующее признание: «Каждый твой материал оригинален,

не похож на другой, и в нем чувствуется энергетика. Это потому, что ты разговариваешь с собеседником как писатель, позволяешь ему раскрыться, раскрепоститься, излить душу свою, делиться мыслями, страдаешь вместе с ним...»

А сам Расул, как-то, предлагая мне сделать вместе третью книгу своего труда «Мой Дагестан» (наша идея не осуществилась, он был уже очень болен и вскоре ушел от нас: очевидно, чувствуя свой близкий уход, надеялся оставить в наследство еще один шедевр), так просто и лаконично выразился: «Ты хороший художник. Мы с тобой хорошие художники и можем сделать хорошую книгу».

Расул Магомедов. Патриарх дагестанской истории. Доктор наук.

Я его знал почти всю свою сознательную жизнь. Но ни разу не брал у него интервью.

И вот мы сидим у него на балконе, пьем чай и ведем разговор о жизни, коллизиях судьбы, о времени, в котором мы оказались после крикливой и сумбурной перестройки. Говорим пять часов и совершенно не чувствуем утомления. Потому что беседа проходит спокойно, дает возможность раскрепоститься душе.

Материал, написанный в результате встречи, с несколькими снимками занял разворот.

Через несколько дней захожу в книжное издательство к Магомед-Расулу, а он уже встает из-за стола, увидев меня на пороге, широко улыбается:

– На площади встретился с Расулом Магомедовичем – он приятно поражен тем, как ты работаешь. Пять часов беседовали, говорит, он изредка что-то записывал. Читаю газету – передал все слово в слово... Ведь у него не было магнитофона, в руке карандаш и несколько листов бумаги...

Музакир Шихсаидов так был расположен к откровенному разговору (несомненно, долго готовился к не-

му), что распахнул, если можно так выразиться, свою истрадавшуюся душу. Он должен был распахнуть ее, чтобы избавиться, наконец, от заледеневшей боли. А история случилась с ним невероятная.

Двадцать лет молодой академик, доктор физико-математических наук, жил и работал в научном городке под Москвой. И вдруг настоятельно приглашают в родной Дагестан, обещают построить завод и назначить его руководителем. Он берет у друзей в долг крупную сумму денег (в долларах), покидает обжитое место, приезжает с женой и детьми, но... вскоре остается без рубля в кармане, без работы, без крыши над головой... Если бы не руководитель «Дагсвязи» Ахмед Курбанович Захаров, неясно, что стало бы с ним и его семьей, как сложилась бы судьба. А Захаров взял Шихсаидова к себе главным инженером, помог с жильем...

И когда взрослый, крупный мужчина рассказывал эту случившуюся с ним историю, замешанную на подлости и коварстве людей, в его глазах стояли слезы.

А Ширвани Чалаев? Он пришел ко мне в редакцию в девять часов утра. В полдвенадцатого, извинившись, ушел на телевидение, обещав вернуться к двум. Вернулся. И беседовали до шести. А затем он запел народные лакские песни во весь голос, во всю ширь своих легких. У открытых дверей кабинета в коридоре стоял и слушал весь коллектив редакции.

Об Анатолии Ягудаеве, скульпторе-чеканщике, я писал несколько раз. Но последняя беседа оказалась оригинальнее всех других. Мы сидели в его мастерской, пили кофе, смеялись, причем он громче меня, потому что рассказывал истории, приключившиеся с ним.

– Ты позволишь упомянуть их в материале?

– Нет, нет, что ты, меня осмеют друзья, вся моя родня, нет, запрещаю, – закричал он.

– Ну, не буду.

– Обещаешь?

– Да.

И опять пошли рассказы, и снова смех, переходивший в хохот. Я вытирал слезы.

– Послушай, Толик, все мы не вечны, не будет нас – никто не узнает об этих историях, случившихся с тобой. Ведь это кусочки твоей жизни, яркие, живые, сочные. Канут в вечность. Не жалко?

Пауза длилась долго. Потом он медленно поднимает руку и будто бросает в мою сторону:

– Ладно, пиши, разрешаю. Пусть смеются надо мной.

Беседа наша вошла в книгу «Портреты. XX век в лицах».

Однажды мне звонит Герейхан Палчаев, редактор газеты «Дагестанская жизнь».

– Признайся, ты придумал для Анатолия смешные истории?

– Все доподлинно рассказал сам.

– И разрешил печатать?

– А почему нет?

– Ты знаешь, мы до слез хохотали и на работе, и дома. Позвоню Анатолию. Поблагодарю за откровения.

Чтобы помочь собеседнику раскрыть душу, надо суметь расположить его к себе, вместе с ним радоваться его радостям, сострадать ему, относиться к нему как брату, даже ближе, чем к брату (если это возможно). И тогда журналист узнает много сокровенного, сокрытого от всех за семью замками.

Я это умел (я не бахвалюсь). Я это умел и доказал беседами с Расулом Гамзатовым, Музакиром Шихсаидовым, Разият Джамбулатовой и многими другими замечательными и значительными дагестанцами.

И с Анатолием Ягудаевым...

Ну кто знал до нашей с ним беседы, что дед Анатолия – Анух был одним из уважаемых людей города Темир-Хан Шуры, купцом первой гильдии, который пользовался правом выезжать за границу, бывать в Англии, Франции, Германии, Польше, Турции, Ира-

не, откуда привозил мануфактуру, продукты питания, ковры. У него был большой двухэтажный кирпичный дом, имел три больших магазина, у него было много кунаков как в Нагорном Дагестане, так и в Юждаге, и часто те, будучи в Буйнакске, останавливались в купеческом доме. В годы гражданской войны старший его сын Михаил был красным партизаном, затем работал председателем Бабаюртовского райисполкома, Хасавюртовского горисполкома, от репрессий его спас Абдурахман Даниялов, который вышел на Ворошилова. Второй сын Ануха – Макс – работал в органах государственной безопасности и долгие годы был... личным телохранителем И.В. Сталина. После смерти И.В. Сталина он вышел в отставку в звании полковника. Дочь Ануха – Хасидо – училась с У. Буйнским в гимназии. Сын Макса – Лев – дослужился до звания генерала, строил ракеты.

Вот вам и необыкновенная родословная скульптора Анатолия Ягудаева, о которой я сумел узнать и поведать общественности (что удивительно – Анатолий даже доверил мне уникальные фотографии из семейного архива).

Ахмед Османов. Симпатичный, тактичный, обаятельный человек. При встрече и разговоре располагающий к себе доброй улыбкой. Работал первым секретарем обкома комсомола, более десяти лет руководил Институтом истории Дагестанского научного центра. И мало кто знал, что полуголодное и полухолодное детство его прошли в землянках на земле Киргизии, в обществе детей разных национальностей, семьи которых были репрессированы и сосланы на окраины страны. Но ни лишения, ни тяжелый труд не ожесточили его душу. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не позволял себе поливать грязью советскую систему, Советский Союз, а, наоборот, восхвалял за то, что он сломил хребет гитлеровскому фашизму, вывел СССР в число цивилизованных стран мира.

Об этом поведал мне, значит, душа просила.

А я поведал читателям.

А с какой радостью откликнулся на беседу Салатдин Атаев, широкой души человек, хирург от Бога, интернационалист высшей пробы, и с каким знанием дела, с какой болью он рассказывал о медицине.

А Камал Абуков, известный в минувшем столетии литературный критик, статьи которого будоражили и возмущали умы литературной общественности не только нашей республики, но и Союза – с какой болью он говорил о жалком существовании писателей, о застое литературного процесса последних десятилетий.

А Гейбат Гейбатов, один из ведущих скульпторов Дагестана, предложивший заложить Театральную площадь на проспекте Ленина, в районе Русского драмтеатра, гостиницы «Ленинград», Национальной библиотеки и музыкального училища, установив в сквере у гостиницы скульптурные композиции основоположникам дагестанского искусства – Джемалу Араби, Готфриду Гасанову и Хасбулату Аскар-Сарыдже. Увы, никто из высших чинов не услышал или просто не хотел слышать его.

Эти люди – соль земли, теин в чаю, букет в благородном вине (слова принадлежат Чернышевскому), ими должны гордиться новые поколения. Но гордятся ли сегодня? Не ведаю.

17

Если речь вести о дружбе с коллегами, то больше, чем с кем-либо, я дружил с фотокорреспондентом Зимбелем. Она, наша дружба, началась со времени работы в «Комсомольце Дагестана», то есть с шестидесятых годов прошлого века, и продолжалась до 2001 года, когда я перешел в «Махачкалинские известия». Четыре десятилетия мы вместе и очень часто выезжали в командировки (он почему-то охотно ездил со мной), готовили

в тандеме материалы (я статьи, он фотоснимки). Очень общительный, простой, доступный каждому, он был на равной ноге и с секретарями обкома партии, и с министрами, и с колхозниками, и с мальчишками, гонявшими мяч на улице. А каждая командировка раскрывала его не только как лучшего фотокорреспондента, но и человека, не принимавшего жизнь без юмора.

Федя – так я звал его все годы нашего знакомства. И хотя он был старше меня на много лет – не обижался, не чувствовал неловкости. Такое обращение даже сближало нас.

Отправляясь в командировку в Юждаг, мы обязательно заезжали в Избербаш. Здесь жила его мать. Пожилая, ярко выраженная гречанка, с радостью встречала сына и тут же уходила во двор хлопотать у большой печи, откуда вскоре исходил обалденный запах – другого слова не подыщешь – и заливал комнату.

– Мама, что ты затеяла, мы на пять минут... – кричал Федя.

А она вскоре заносила шипящие на сковороде чебуреки. Вкус этих чебуреков у меня до сих пор во рту. Я вгрызался зубами в горячий чебурек, наслаждался соком, обжигавшим язык и нёбо, и не отрывал взгляда от портрета, висевшего на стене над диваном. На крепкой широкой груди бравого воина с закрученными вверх усами красовались Георгиевские кресты.

– Мой отец, – объяснил Федя, жуя чебурек. – Герой Первой мировой.

После окончания Великой Отечественной войны все родные – дядя, братья, тети Феди осели в Избербаше, работали нефтяниками, преподавателями, строителями, врачами. Только вот Федя после войны, а ушел он на фронт пацаном, то ли в шестнадцать, то ли в семнадцать лет, увлекся журналистикой, стал фотокорреспондентом: сначала работал в «Избербашском рабочем», потом в «Комсомольце Дагестана», и наконец,

в «Дагестанской правде». Фотоработы его публиковали все республиканские газеты.

Часто вспоминаю Федю и как кинокадры высвечиваются в памяти кусочки нашей жизни.

...Праздник первой борозды, чуть ли не самый любимый у горцев. Едем в Левашах. За селом, на большом поле, быки готовы к пахоте, лошади – к скачкам, силачи – к состязаниям. Наконец, быки медленно и важно начинают свой ход, вслед за плугом горцы достают из мешка зерно и широким взмахом руки пригоршнями разбрасывают в борозды. Федя устремляется за быками, выходит вперед, быстро наводит фотоаппарат, начинает съемку. Я окликаю Федю, еще и еще, наконец, он подходит, медленно, вальяжно, с чувством исполненного долга.

– У тебя объектив закрыт, – говорю я ему.

– Как это закрыт? – не понимает он.

– Крышку с объектива не снял.

Он недоуменно глядит на фотоаппарат и вдруг срывается с места – пускается вдогонку за быками. Чуть погода кричит: «Снял!»

...Мы в Ботлихе, на празднике дружбы молодежи Ботлихского и Веденского районов. Целый день общаемся с задорными девчонками и ребятами, вечером сидим за столом у второго секретаря райкома комсомола.

Стол ломится от еды. Разливают в стаканы из глиняных кувшинов спиртное. Я делаю глоток и ставлю стакан на стол. Федя выпивает полстакана, принимает, потом допивает. Уже выйдя из гостеприимного дома, на темной улочке, он отходит в сторону, затем подойдя, тихо говорит:

– Что-то дурно мне стало. Слушай, а что мы пили? Какая-то мутная жидкость... Самогон – не самогон...

– Не знаю, Федя. Здесь пьют бузу или чачу.

– Откуда ты знаешь? Ты же не пьющий. Вот я могу выпить водки, хорошо поесть – и ни в одном глазу.

А тут от одного стакана голова кругом идет. Пошли быстрее в гостиницу.

Просыпаюсь ни свет ни заря. Фебина кровать пуста. Выхожу во двор – он сидит на ступеньке крыльца. Воздух чист и колюч – мертвого может оживить.

– Как-то тракторист Вася, – говорит Федя тихо, – собрался ехать в город. Решил взять с собой и жену Машу. Завершив дела, пошли обедать в ресторан. Заказали борщ, котлеты, по бокалу вина. Ест Маша борщ и вдруг тихо жалобно говорит:

– Вась, а Вась, всю жизнь в деревне водку пьем, и ничего, а тут бокал вина выпила, а грудь так и жжет, так и жжет...

Вася поднимает на нее смеющиеся глаза:

– Машка, глупенькая моя, вынь сиську-то из борща.

...Я сижу на дне будущего Чирюртовского моря. Дневной рабочий гомон утих. С утра во рту – ни крошки хлеба.

Подходит Федя, достает из сумки два яблока. Одно протягивает мне:

– Держи. Замори червячка.

– Где раздобыл?

– Девчата угостили.

Он с хрустом вгрызается зубами в сочный плод и уходит.

Я надкусываю яблоко и чувствую, как кисло-сладкий сок, освежая рот, медленно ползет к моему изголодавшемуся желудку.

Неожиданно появляется Федя.

– Поднимайся. Есть машина. Подвезет в Махачкалу.

На следующий день Федя кладет мне на стол кипу фотографий. Перебираю и восхищаюсь его работами: здесь и плотина будущей ГЭС, и котлован, и люди, много веселых, задорных, жизнерадостных людей, и... мой взгляд замирает: я сижу на камне и держу в руке яблоко. Вокруг меня искореженная земля, а в руке яблоко!..

Эта фотография хранится в моем семейном альбоме. Человек удивительной красоты души.

Человек, который всегда готов был творить добро, не требуя взамен ничего. Даже честь свою он защищал (а такое случалось) незлобиво, по-простецки, мягко, но аргумент его никто не мог оспорить.

Как-то статью одного из собкоров газеты нужно было подкрепить фотоснимками знатных чабанов. Федя вызвался помочь: он нашел в своем богатом архиве пленку, на которой были изображены чабаны. На следующий день затрещали телефоны: оказывается, одного из чабанов уже не было в живых.

И вот идет заседание партбюро. Молодые коммунисты выступают смело, горячо произносят красивые слова. Ветераны войны (а их в редакции немало) помалкивают. Федя сидит тихо, словно речь идет не о нем. Наконец, когда замолкает и секретарь парторганизации, Федя встает и спокойным голосом произносит:

– А где вы были, когда я Берлин брал?

Наступает тишина. Мертвая.

Федя нанес удар под дых. Тактика им была выбрана безошибочная. Ну, недоглядел человек, так что же по этому поводу созывать партбюро? Обсуждать воина, поправшего смерть? Миллионы погибли в огне войны, но миллионы и вернулись, и один из них был Федор Зимбель, сын солдата Первой мировой, полного Георгиевского кавалера! И сам удостоенный многочисленных наград! (А носил он на груди, постоянно, и зимой и летом, одну награду Родины – орден Отечественной войны 1-й степени).

Каюсь, один раз и я поступил со своим другом некрасиво, можно сказать низко, не по-мужски. Было время, когда всех, достигших шестидесяти лет, вдруг стали выгонять, выставляя на пенсию. Наш редактор попросил меня поговорить с Федором Ивановичем (он знал о наших добрых отношениях). Выслушав меня, Федя, как всегда, спокойно сказал:

– Я фотожурналист, а фотожурналисты на пенсию не уходят. А во-вторых, я ветеран войны, и меня не смеет просить ни он (Федя ведь сразу понял, от кого исходит инициатива), ни бог, ни царь.

Он не сказал мне свою коронную фразу: «Где ты был, когда я Берлин брал?», потому что знал, что в ту пору пятилетним пацаном я укрывался в рукотворном бомбоубежище, вырытом в бабушкином дворе, когда в небе нашего маленького города кружил фашистский стервятник.

Каюсь, и по сей день не нахожу себе успокоения.

Большая часть моего семейного альбома состоит из фотографий Феди. Той поры, когда я работал в «Комсомольце Дагестана», в обкоме партии, в «Дагестанской правде». На книжных полках фотографии, подписанные им: вот я со своими маленькими девочками в парке, я с супругой и дочкой (он всегда почему-то оказывался на моем пути), на стене висит портрет двадцатипятилетнего журналиста – крупные глаза, глядящие чуть в сторону, густые черные волосы в бликах солнечного света...

И я вижу его мысленно. Часто. Очень часто Федя выплывает из безвременья.

Он всегда со мной.

18

Газеты являлись центром притяжения творческой интеллигенции. Не проходило дня, чтобы в редакцию не заходили писатели, поэты, композиторы, актеры. Особенно литераторы – и профессиональные, и начинающие пробовать свое перо. Приезжали из других городов, из райцентров, из отдаленных селений в надежде опубликовать что-нибудь из своего литературного хурджина, да и просто, как говорится, подышать воздухом литературы, узнать новости и «нагрузиться» сплетнями. Да и в самих редакциях газет работали

писатели: они совмещали эту профессию с журналистикой. Так, в «Комсомольце Дагестана» трудились Зульфукар Зульфукаров, Александр Грач, Иззат Алиев, Василий Гончаров, Иван Неботов; в «Дагестанской правде» – Виталий Горбач, Михаил (Миши) Бахшиев, Дмитрий Трунов, Хизгил Авшалумов, Вацлав Михальский, Владимир Портнов, Рамазан Каниев, Магомед Гасангусейнов; в аварской газете «Красное знамя» (так прежде называлась нынешняя «Истина») – Магомед Шамхалов, Гаджи Залов, Тажудин Таймасханов, Омар-Гаджи Шахтаманов, Гусейн Гаджиев, Максуд Зайнулабидов, Магомед Исаев, Абдулмажид Хачалов, Магомед Насруллаев; в даргинской газете «Ленинское знамя» («Замана») – Магомед Абакаров, Амир Гази, Хабиб Алиев, Магомед Гамидов, Газимагомед Юсупов, Раджаб Адамадиев, Касумбек Миграбов, Ильяс Гасанов, Ильяс Гусейнов, Габиб Наврузов; в кумыкской газете «Лени-ёлу» («Елдаш») – Салих Валиюлаев, Мустафа Гусейнов, Микаил Абуков, Магомед Атабаев, Ахмед Джачаев, Абзайдин Гамидов; в лезгинской газете «Коммунист» («Лезги газет») – Алирза Саидов, Шах-Эмир Мурадов, Даглар Абдуллаев, Мердали Джалилов, Якуб Яралиев; в лакской газете «Илчи» – Гасан Курухов, Рамазан Рамазанов... И многие, многие другие. Прозаики и поэты, они были известны не только в Союзе, но и далеко за его рубежами.

В редакцию часто заходили и композиторы – Сергей Агабабов, Мурад Кажлаев, Наби Дагиров, Магомед Гусейнов, Сейфула Керимов, Тамерлан Джандаров, Ширвани Чалаев, руководители ансамбля «Лезгинка» Танхо и Махай Израиловы, скульпторы Гейбат Гейбатов, Анатолий Ягудаев.

Но самым желанным был Расул Гамзатов. Каждый день в полдень он шел на обед в ресторан «Лезгинка», располагавшийся на углу улиц Пушкина и Сулеймана Стальского (сегодня на его месте построен огромный дом, я бы сказал – сундук – так он загромоздил улицу).

Горожане от мала до велика замирали, увидев поэта в сопровождении коллег: лица молодых светились, губы растягивались в улыбке, пожилые подходили к нему и пожимали руку. Расул пересекал городской сад, выходил на Пушкинскую и поднимался на второй этаж старинного дома, в длинном коридоре которого с переходами размещались все республиканские газеты. Прежде всего он заходил к редактору «Дагправды» Николаю Комиссарову, обходил отделы, затем другие редакции, и за ним тянулся длинный «шлейф» журналистов. Спустившись на улицу, он навещал журналистов «Комсомольца Дагестана», где редактор Иззат Алиев обязательно угощал его кизлярским коньяком.

Своим посещением Расул приносил в работу газетчиков свежую волну, подпитывал своей энергетикой.

Расул вообще был каким-то ничем не объяснимым магнитом, притягивавшим к себе десятки, сотни, тысячи людей. Его выступления на собраниях, совещаниях, встречах с читателями всегда вызывали бурю эмоций. Начиная свою речь спокойно, медленно, он постепенно распалялся и вдруг, вскинув руку или обе руки, метал в притихший, замерший зал только что родившуюся в разгоряченном мозгу новую мудрую мысль – афоризм. И буря аплодисментов взрывала тишину.

Расул приносил в жизнь людей, жизнь городов и сел радость творчества. Он регулярно приглашал в Дагестан известных в стране прозаиков и поэтов, разъезжал с ними по республике, собирал на праздники поэзии тысячи людей. У нас гостили и выступали перед массами Роберт Рождественский, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов, Мирза Турсун-заде, Мустай Карим, Адам Шогенцуков, Берды Кербабаев, Наби Хазри, Яков Козловский, Наум Гребнев, Семен Липкин, Елена Николаевская, Юнна Мориц, Владимир Солоухин, Ян Френкель, Иосиф Кобзон, многие-многие писатели, композиторы, певцы.

Расул привносил в жизнь своего народа – в жизнь дагестанцев – культуру.

Привносил ее и Мурад Кажлаев, который приезжал из Москвы с коллективом эстрадно-симфонического оркестра и давал концерты под открытым небом в районных центрах, куда съезжались горцы из городов и сотен сел.

Тысячи и тысячи колхозников и рабочих собирались на выступления прославленного ансамбля танца «Лезгинка», покорившего своим искусством не один десяток зарубежных стран.

Мы, журналисты, были глашатаями небывалого культурного штурма. Если перелистать подшивки «Дагправды» тех лет, можно ознакомиться с десятками, сотнями репортажей, статей, отчетов, полос и разворотов, писем и благодарностей простых людей, фотоснимков и фоторепортажей об этом своеобразном штурме культуры, который, не затихая, волнами, валами накрывал нас. И обогащал.

Музыкальным, литературным, театральным мероприятиям, встречам со знаменитыми и прославленными людьми страны, декадам, Дням литературы и искусства Дагестана в Москве, Ленинграде, в других крупных городах страны и союзных республиках, а также их приезду и встречам с нашими трудящимися посвящались целые газетные номера.

Культуру прививали. Я бы сказал, культуру насаждали. Ибо в ту пору ясно сознавали, что она помогает развиваться политическому, общественному самосознанию человека, его этико-эстетическим взглядам.

Газеты были центром притяжения творческих и научных сил, распространителями знаний, пропагандистами передового опыта труда, здорового образа жизни, воспитателями молодого поколения на славных традициях наших дедов и отцов, борцами с антиобщественными явлениями.

Сегодня из газет мы не можем узнать, как и чем живет население гор, в каком состоянии находится на местах здравоохранение, образование, культура, почему закрываются дворцы и дома культуры, какие проблемы волнуют сельскую молодежь, по какой причине и по чьей вине падает уровень образования и культуры... Да каких только проблем нет в нынешней, так сказать, новой жизни и ни одна не находит отражения на страницах печати. Зато редакторы газет бахвалятся тем, что их радует сегодняшняя свобода.

Свобода! Какое сладкое слово, эфемерное, красивое со времен Адама и Лилит, да, да, не Евы, ибо первой женщиной была Лилит, созданная, как гласит легенда, из пламени, и вот она-то, почувствовав свободу, ушла к Сатане... Красивое, сладкое слово, но бесполое.

Где, в чем видна свобода нынешних средств массовой информации? В том, что они ушли из-под опеки государства? Но ведь они имеют своих спонсоров, своих учредителей, и те финансируют газету не как благородные благотворители, а преследуют цели, свои намерения – осмеять одного, обличить другого, дезинформировать третьего... Журналисты считают свободой то, что могут оскорбить, облить грязью высокого чиновника, опорочить его имя. Некий пишущий человек, считающий себя образованным интеллигентом (не буду называть его) принес в газету для публикации статью, в которой обвинял Президента республики в алкоголизме, взяточничестве, в некомпетентности... Не имея ни одного факта. И требовал уйти с высокого поста.

Независимой журналистики нет. Есть только претензия на нее. И вообще журналистика сегодня приобрела женское лицо – слабый пол вытесняет из этой важной сферы влияния на общество мужчин.

Это сладкое слово – свобода... Ерничество, зубо-скальство, словоизвержение, провоцирование стали

характерными чертами так называемой свободной печати.

Я позволю себе повториться: да, журналистика стала женской профессией. Но не это меня сегодня беспокоит и тревожит, не то, что женщины «выбивают мужчин из седла», занимая их позиции, а то, что журналистика стала источником грязных доходов. На нашей памяти немало заказных статей, публиковавшихся в девяностые годы, публикующихся и ныне. Немало панегириков, немало вылитых ушатом нечистот с целью опорочить честных людей ради больших денег.

Я уже выше рассказывал, как некий писака вознамерился облить грязью Президента республики, не подкрепляя свой пасквиль ни одним фактом. Что руководило им? Или кто?

В пору нашей молодости и зрелости такой «вольности» не только не могло быть, о ней и думать не смели себе позволить. Статьи писались чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. И не ради денег.

Журналистика была жизненной необходимостью человека. Его любимой профессией. Одной единственной, которая была дана ему природой.

Чем меня обогатила моя профессия, спросите? Увы, у меня нет ни машины, ни дачного участка, ни загородного дома, ни гаража (как предмет недвижимости). Я не предавал свое перо, не запятнал свою фамилию грязными подачками, не ябедничал, не угодничал, не высиживал долгими часами в приемных высоких лиц, своим трудом завоевывал и получал профессиональные и правительственные награды.

Никогда не забуду встречу с Суракатом Асиятиловым в поликлинике №1. Мы тепло поздоровались, потом он стал подниматься на второй этаж – шел к директору медицинского центра Ибрагиму Ибрагимову – вдруг остановился на лестнице и окликнул меня:

– Феликс, спасибо тебе...

– За что, Суракат? – удивился я.

– Спасибо. Ты ни перед кем не унижался, никому не угодничал. И отец твой был такой – ни перед кем не унижался. Спасибо вам.

Может быть, поэтому мои собеседники были со мной всегда откровенны, не боясь, что скажут или подумают другие, делились сокровенными мыслями, как родному брату раскрывали томившуюся душу, и смеялись сквозь слезы, как дети, и грустили, и пели песни, в которых явственно слышалась тоска...

В часы раскрепощения наступал для них и момент истины, когда их сердце и разум выдавали великолепные мысли. Какие? Вот послушайте: «Добро должно быть с кулаками» (Амучи Амутинов, заместитель Председателя Правительства республики); «...Ныне богатые тоже плачут... потому что счастье стало опасно. Сейчас надо думать, как избежать несчастья», «Когда ноша тяжела, нищие дерутся между собой», «Мы себе путь не выбираем, путь выбирает нас», «Кто виноват в этом хаосе жизни – дорога, которой мы идем, или всадник без головы?» (Расул Гамзатов, народный поэт Дагестана); «Понимать жизнь не сложно, жить сложно» (Муталиб Митаров, народный поэт Дагестана); «Чем старше становлюсь, тем больше хочу писать о Родине и плакать о ней» (Ширвани Чалаев, композитор); «Человек, который прожил день, не посмотрев ни одной картины, не прочитав ни одной странички великолепного произведения, не вспомнив о своих родителях, усопших или здравствующих, не обняв и не поцеловав своего ребенка, разве может называться человеком?» (Геннадий Голубев, народный артист Дагестана).

И я был рад тому, безмерно рад, ибо познавал истину. Вернее... шел, продвигался к познанию истины.

Приятно, конечно, когда тебя, твой труд признает общество. Но высшая оценка – это та, которую ты услышишь из уст человека, из его письма, в его рукопожатии. Что может быть дороже?

Как-то в начале нового века, а заодно и нового тысячелетия, в редакцию поступило письмо на мое имя. Адрес отправителя – город Каспийск, П.П. Рубцов Я был несказанно удивлен – сколько десятилетий прошло... Мы работали в молодежной газете «Комсомолец Дагестана». Он был выпускником того же вуза, что окончил и я. Высокий, сутуловатый, шумный, а точнее жесткий и резкий, твердый в убеждениях, Петр Рубцов с каким-то неистовством любил журналистику (может, потому, что ей позволялось говорить правду и бороться за добро), владел искусством рисования и стихосложения. И постоянно улыбался. Улыбка не сходила с его крепко скроенного лица. Спустя некоторое время он уехал. Куда – не помню. Честно говоря, не вникал в его семейные обстоятельства.

И вдруг... письмо. Несколько белых листов исписаны с обеих сторон каллиграфическим почерком. Перечитал я их несколько раз. Он не писал, он беседовал со мной, он распахивал душу и изливал свою боль...

«Дорогой Феликс Михайлович! Искренне рад поговорить с тобой хотя бы письменно. Ты полагал, что я живу в «прекрасной средней полосе России». А я «оказался» в Каспийске с... 1971 года, где работал педагогом в спец ПТУ им. Ф.Э. Дзержинского. И куда бы я делся? Самая прекрасная земля для меня – моя родина Дагестан. «Где родился, там и сгодился».

С удовольствием повторяю по поводу твоих материалов. Без преувеличения скажу: это то, что сегодня так не хватает нашему одуревшему обществу – чистой, прозрачной для любого ума мудрости. Взять последний очерк – «Пепел Беслана» – под любой строкой

его я готов подписаться, не столько как единомышленник (это бесспорно), но как человек, давно понявший, что наше общество обокрали! Демократы.

Поверь (без дежурных комплиментов!), твоё слово, твои мысли, я убежден, очень необходимы в нынешней дурной духоте всеобщей сумятицы в мозгах, в этом шквале бездуховности... Как оно необходимо – твоё трезвое, устное слово и тем, кто очутился в нравственно «чужом мире», и молодым, ещё не окончательно зараженным гонкой за «богатством» и «удовольствиями», тем, кто стремится осмыслить бытие своё и своего народа...

Я душевно рад, что ты, Феликс, в строю, что вопреки «моде», которой очень многие заразились, крепко стоишь на основе традиций Дагестана и несешь свои светлые мысли людям!

Пишу я это где-то с радостью за тебя, а где-то с печалью: редко сегодня прочтешь и услышишь действительно разумные размышления о судьбах нашего общества, особенно на фоне крикливых (кем-то хорошо оплаченных) «разоблачителей» и «обличителей», а проще – лжецов, отравляющих всю молодежь...

Итак, наверное, достаточно – решил ограничиться этим «куском» из письма-беседы Петра Рубцова.

Такие строки, я думаю, дороже любой государственной награды.

А слова, произнесенные, точнее подаренные мне Председателем Духовного управления мусульман Дагестана Сайидмухамадом-хаджи Абубакаровым? Впервые, да, не ошибусь, впервые за многолетнюю историю «Дагестанской правды» почти целая полоса была посвящена религиозному деятелю, общение наше длилось около пяти часов. Беседовали мы обо всем, о чем можно и даже не всегда можно, говорили на философские, бытовые темы, никто не скрывал друг от друга своих политических, религиозных позиций, и я чув-

ствовал, что он от беседы получает удовольствие. Уже поздно вечером, когда мы закончили нашу работу, он не позволил мне уйти домой пешком, подвез до дома и, пожимая руку, тихо, проникновенно произнес следующие слова: «Я никогда не забуду то время, которое провел с вами».

Представляете? Он еще не видел, не мог видеть газетного материала, но душой, сердцем, разумом представлял, каков он будет.

А в день выхода газеты «Дагестанская правда», на четвертой полосе которой обширное место занимала наша беседа с Сайидмухамадом-хаджи Абубакаровым и его портрет, на улице ко мне подходили люди (которых я не знал) и пожимали руку.

Это ли не награда?!

20

Много сегодня разглагольствуют о свободе – свободе слова, совести, демонстраций и других свободах. Боже мой, какая наивность! От кого мы свободны? От работодателя? От высокого чиновника? От общества? От природы, преследующей нас страшными катаклизмами? Природа нас создала и она нами манипулирует, испытывает на выживаемость.

Даже бомж, не имеющий ни кола ни двора, крышей над головой которого является небо, а матрацем – картон коробки, даже он не свободен в своих действиях.

Была, есть и будет у человека всегда свобода духа. Именно она, свобода духа, дает ему выжить в любых ситуациях, разумно мыслить, принимать решения. И только в том случае, если дух этот не закабален, не расхристан, не куплен сиюминутными ценностями...

Многие говорят о силе правды. Да, правда сильна – правдивое слово способно убить, воодушевить массы... Но, увы, правда уже давно потеряла свою целост-

ность – она рассыпана, расслоена, называйте, как хотите. У властителя своя правда, у обывателя – своя, у работодателя одна правда, у трудящихся – другая, у чиновника свой угол зрения на правду, у мещанина – иной. Рассопливили это святое слово. Вот вам простой пример – названия газет: «Дагестанская правда», «Московская правда», «Ставропольская правда»... Позвольте, это как же понимать: у каждого региона своя правда? Значит, нет одной правды, которой должны руководствоваться все, или образно – которая питала бы всех? Одно слово, которое вселяло бы силу, уверенность, надежду, помогало бы человеку стать человеком с большой буквы?

Когда такие понятия или жизненно важные концепции, как свобода, правда, превращаются в пустые слова, появляется что-то новое (природа не терпит пустоты).

Так вот, в поисках знаменателя, или истины, мы подошли к той черте, когда нам предоставили новую ценность (если можно ее так считать) – право выбора.

Как-то на страницах еженедельника «Российская газета» от 14 июля 2011 года я с удовольствием прочитал великолепное интервью известного журналиста Валерия Выжutowича с талантливой актрисой и здравомыслящим человеком Татьяной Друбич. Меня покорили ее здравые суждения и философская концепция. Я несколько раз перечитал ее ответы Выжutowичу – как смело, трезво и здраво она рассуждает:

«Радует хотя бы то, что есть выбор. Можешь жить здесь, а можешь там. Можешь быть самостоятельным человеком, а можешь ждать милости природы. Можешь вступать в «Единую Россию», а можешь пойти в монастырь. Выбор есть. Единственное, я бы запретила медицинским чиновникам лечиться за границей, чтобы хотя бы у них выбора не было».

Побольше бы таких людей, обладающих свободой духа.

Так что разговоры, а грубо говоря, болтовня о том, что хочу, то и ворочу – это желание уйти от реального мира в ирреальный.

В конструкции человеческого организма, в конструкции человеческой жизни есть хребет – и имя ему свобода духа. Можно добавить – и мысли. Но мысль, разум можно подавить духом, душевным состоянием, душевным вулканом, собственной энергией собственного я, обогащенного знаниями и мудростью времен. И вот эта свобода духа дает силы называть себя человеком, не позволять становиться рабом, лизоблюдом, угодником, карьеристом, подлецом, наконец.

Свобода духа, свобода самовыражения – вот единственный элемент философской человеческой конструкции, которую нельзя никуда ни загнать, ни подмять, ни заковать в наручники, ни замарать хулой и клеветой...

Я так думаю.

Я шел к такому пониманию долгой дорогой... А кто понимает иначе – пожалуйста, это его право.

Да, правды, одной правды для всех – не бывает. Одна может быть только истина. Но кто и когда ее ощутил, почувствовал, ведь она не знает ни запаха, ни цвета, ни звука.

Истина – тот философский камень, фундамент, тот философский постулат, который никто не может, не способен оспорить. Истина не оспорима.

Когда-то восточный мудрец изрек: «Мы приходим в жизнь, чтобы познать путь в смерть». Мрачноватая философия восточного мудреца.

Я отнюдь не философ, но возьму на себя смелость перефразировать мудрость, пришедшую из глубины веков: «Мы приходим в жизнь для того, чтобы познать истину».

Мне кажется, что данный вариант и мягче, и верней. Точней.

И на самом деле, год за годом поднимаясь по ступенькам все выше и выше, мы стараемся совершенствовать свою жизнь, свою работу, наконец, свою профессию, приближаясь к истине...

И вдруг чувствуем, боясь самому себе признаться, что что-то упустили, чего-то не доделали, что-то совершили не так, как следовало бы, вот вернуться бы назад, разметав годы, начать жизнь иначе, ибо совершенные ошибки, упущения привели неожиданно к познанию... Чего? Верного пути к истине?

Человек так страстно, так безумно долго жаждет познать эту загадку и воскликнуть: я достиг истины...

И в очередной раз задаюсь вопросом: ну кто же, кто ее познал?

А на память приходят слова философа и гуманиста Декарта: «Чтобы найти истину, каждый должен хотя бы раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов».

Мне кажется, это не что иное, как революция серого вещества, или если хотите проще – революция ума.

Для одних – она страшная мука переломить себя. Для других – вспышка гения.

Сегодня мы стали очевидцами и соучастниками такого действия, когда новое время, новое тысячелетие предоставило всем без исключения новую нравственную ценность (если это действие можно так охарактеризовать с огромной натяжкой) – право выбора.

Право быть человеком с большой буквы или подлецом (оно сегодня уже сбросило с себя ругательную, негативную оболочку). Быть независимым (оставаться наедине со своими интересами) или лизоблюдом (и делать карьеру). Жить здесь, в своей стране, растерянной, ищущей тропу к большой дороге, или там, за рубежом, глотая с болью ее «прелести». Жить по совести или по лжи...

Есть право выбора, выдавливающее, отрицающее такие вековые ценности, как правда и свобода...

Долгой оказалась дорога к истине. Точнее сказать, к познанию истины. И за свой труд, продолжающийся и по сей день, я не выпрашивал ни орденов, ни медалей, не обивал пороги высоких чиновников, не угодничал им: его замечали, ему давали оценку. Я трижды становился лауреатом республиканского конкурса «Золотое перо Дагестана» (1972, 1991, 1997гг.), лауреатом республиканского конкурса «Золотой орел» (2003г.), к своему сорокалетию в 1978 году был награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР «За многолетнюю и плодотворную работу в советской печати», в 1979 году – Почетным дипломом Союза журналистов СССР. В 1988 году за заслуги в области печати и многолетний добросовестный труд мне было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР», а к 60-летию – Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Награжден медалью «Ветеран труда».

Да, чуть не запамятовал: еще был награжден именными часами от Председателя Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедовича Магомедова.

Свое 70-летие я провел на больничной койке и никто меня не «потревожил». Такие уж были времена.

В одном из моих стихотворений есть следующие строки:

*Пришли другие времена.
Пришли иные племена.*

Вожделенной мечтой многих сегодня стало неумное желание приколоть на грудь орден «За заслуги перед Отечеством». А разве нельзя служить своему Отечеству и народу по велению сердца, не стоя перед

собой меркантильные цели? Тщеславие было и продолжает быть пороком человека.

Поймите меня правильно – не хочу бахвалиться, выпячивать себя – ни разу на лацкан моего костюма не была приколата медаль Заслуженного работника культуры Дагестана, нагрудный знак Заслуженного работника культуры России, «Золотое перо», «Золотой орел», медаль ветерана труда.

Ни разу.

Они лежат в ящике моего письменного стола как память, а вернее – дань моему журналистскому труду.

Перебирая в памяти свои годы, людей, с которыми встречался, я часто стал задумываться: а не потому ли они были так искренни в беседах со мной, не потому ли они не стыдились раскрыть свою душу, не потому ли они не боялись делиться со мной своими мыслями?

Не потому ли они шли ко мне, общались со мной без страха и упрека, что верили в мою профессиональную честность и порядочность?

Ожидал ли я от тех людей, кому делал добро, в ответ добрых деяний? Боже упаси, как говорят в народе, я и думать себе этого не позволял. Да разве же добро делается ради того, чтобы в ответ получить его? Нет же. Делать добро – это творчество, это состояние, или, вернее, требование, подъем, взлет твоего духа, духовного состояния. А если у другого его нет, а у тебя оно есть? Да разве можно его за это корить?

А я любил это действие. Никто меня не заставлял, никто мною не повелевал. Ну хотелось делать – вижу, чувствую – хороший человек – и делал...

Но вот однажды, сидя в кабинете у своего старейшего товарища, директора Дагестанского книжного издательства, народного писателя республики Магомед-Расула, которому поверял свои мысли и думы, я вдруг возьми и скажи (и какой черт дернул меня за язык?):

– Сколько добра я сделал этим людям (и показываю на свою книгу «Портреты»), а от них...

– Молчи, – вдруг громко закричал он, прервав меня, вскочив с места и приложив палец к губам. Потом подбежал ко мне, близко-близко, лицом к лицу, и не отрывая пальца от губ, наставительно проговорил:

– Никогда не проси добро. Не выпрашивай его. Это не подаяние. Не милостыня. Чтобы я не слышал такого от тебя. Оно приходит. Просто ты его не видишь. Оно приходит само, незаметно. Только не выпрашивай его, не смей...

И сел на место. Спокойный. Но какой-то опустошенный. Может быть, оттого, что он высказал, выплеснул накопившиеся в собственной душе чувства, боль? Остерегал меня и одновременно самого себя от соблазна выпрашивания добра?..

Не знаю, не могу знать.

Но одно я чувствовал точно: оно, добро, приходило. Словом. Предложением. И становилось спокойно на душе.

Помню, как-то пришел ко мне в редакцию Камал Абуков, крупный литературный критик, писатель (в ту пору он работал заместителем председателя правления Союза писателей Дагестана Расула Гамзатова). Долго говорили о разной чепухе, наконец, спрашиваю, с какой просьбой явился. Камал долго почему-то мялся, наконец, произнес:

– Расул прислал. Говорит, кто только из писателей ни приходит с просьбой – одному помочь получить дачный участок, другому – купить машину, третьему – оказать материальную помощь, вот только Феликс ничего не просит. Может, говорит, помочь ему телефон установить (а в ту пору это было очень сложно).

Я успокоил Камала:

– Скажи, мне ничего не надо – за дачей ухаживать у меня времени нет (хотя я любил ковыряться в земле), машину не люблю (да и денег на нее у меня не было), телефон установил давно.

– Но что я ему скажу, что-то же должен сказать? – произнес он после паузы.

– Передай, что я желаю ему крепкого здоровья.

А еще было предложение Амучи Амутинова, в ту пору, когда он работал заместителем Председателя правительства Дагестана. Мы ехали в его машине из Новолакстроя, где знакомились с ходом строительства новых селений. В ходе беседы, а беседа в дороге бывает обо всем и ни о чем, чтобы скоротать время, Амучи Михайлович неожиданно спросил, много ли у меня неопубликованных литературных работ.

– Есть и немало, – ответил я, не поняв сразу хода его мыслей.

– Вы подготовьте рукописи, я помогу издать их, – предложил он. Я вежливо, чтобы не обидеть, отказался.

– Не скромничайте, – улыбнулся он, – меня это не ударит по карману. Многие типографии в долгу, так вот они и оплатят часть своего долга.

Я поблагодарил его за желание оказать помощь и сообщил, что книжное издательство обещало включить мои работы в план ближайшего года...

Да, добро приходило словом. Предложением о помощи. А это, представьте, многого стоит.

22

Я хотел начать свои заметки с притчи, но мысли мои так радостно и мучительно металась в голове и подгоняли мою авторучку, что проскочил мимо, а если честно – забыл. Просто запямятовал. А если вернее – упустил. А теперь умиротворенный и успокоенный (ох как хотелось излить душу) позволю себе изложить ее вам.

В одном древнем иранском городе, в знойный полдень, на узкой каменистой улице, в тени дома лежал старый дервиш.

В это время по улице торжественно шествовал правитель города в окружении пышно разодетой сви-

ты. Простой люд, завидев их, вскакивал с мест, жался к каменным стенам со страхом и сгибался в три погибели.

Начальник свиты, размахивая плеткой, подбежал к дервишу:

– Чего разлегся, не видишь, кто идет? Вставай, несчастный, да поживее.

Дервиш открыл глаза, протер их и невозмутимо спросил:

– А кто он такой?

– Несчастный дервиш, он правитель нашего города.

– Ну и что с того? А я правитель тысячи дорог.

– Что ты сказал? – спросил правитель, подойдя к дервишу.

– Вот ты поднимаешься по ступенькам времени или жизни, так тебе проще понять. Кем ты можешь стать еще?

– Губернатором.

– А потом.

– Визирем.

– И еще потом?

– Наместником, несчастный дервиш.

– А еще, еще...

– Да не услышит меня он... шахом.

– А дальше, после шаха?

– После шаха нет ничего.

– Глупый ты человек. Слышишь четки годов, поднимаешься по лестнице времени, дойдя до седины, не понял, для чего живешь, к чему стремишься. Знай же, смертный человек, что этого Ничего нет во всей вселенной, ни под сводом небесным. Ничего – это пустота, а разве ты – пуст, я – пуст? Ты говоришь, выше шаха нет ничего? Есть. Имя ему истина. Она одна на всех. До которой так далеко и трудно идти.

– А ты познал ее? – криво усмехнулся правитель города. – Кто-нибудь добрал до нее?

– Ступай своей дорогой и дай мне побыть одному. Мне еще долго идти к истине. Она и здесь, и там.

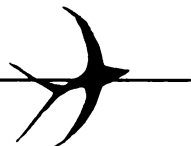
Дервиш указал рукой на грудь, потом на небо, отвернулся к стене, укрылся выцветшим плащом, закрыл глаза. И тихо, твердо произнес:

– Но она должна быть. Может, и в конце пути, но должна быть. Иначе ради чего жить?

23

Р. С. Я коротко обрисовал свою долгую дорогу в журналистике. Вернее, рисую. Ведь я еще иду. Еще в пути. И ни словом не обмолвился о другой дороге – в литературу.

Ей, очевидно, посвящу иные автобиографические заметки. Почему – очевидно? Должен посвятить. Ибо тяжело осознавать, как развиваясь, расцветая, в одночасье развалилась наша многоязычная литература и куда-то делся, а если вернее – исчез, растаял, как сладкий дым, наш читатель.



Душа желала ведать о себе

Послесловие

24

В литературу я шел с детства, точнее со школьных лет. Медленно, ненавязчиво, но упорно (это сейчас я делаю такой вывод, а в ту пору этот процесс мне казался просто забавным, он увлекал меня).

О журналистике я и не помышлял. Просматривал и читал много газет – отец приносил домой центральную «Правду», «Известия», «Литературную газету», «Советскую культуру», а мне выписывал «Пионерскую правду». Просматривал и читал то, что привлекало мое внимание, то есть что было мне интересно.

А писал... сатирические стихи и басни. Спрóсите: почему басни? – и ответить не смогу. Писал на бытовые, социальные, даже политические темы. Последние, очевидно, рождались от прочтения газет.

Итак, уродливые явления вызывали у меня, пацана-школьника, желание развенчать их в сатирических строчках, баснях. Я отправлял свои сочинения во все-союзный журнал «Крокодил», «Пионерскую правду», и обязательно, подчеркиваю, обязательно каждый раз получал письмо из редакции

Писал. Отправлял. И снова получал письма...

Первое мое стихотворение, которое называлось «Альбатрос», было опубликовано в газете «Дагестан-

ский университет», когда я уже учился на первом курсе вуза. Другое стихотворение «Вишня» вошло в литературный альманах «Дружба», который составлял известный не только в Дагестане, но и в стране поэт, лауреат премии имени Ганса Христиана Андерсена Рашид Рашидов. Прочитав «Вишню», писатель и литературный критик Ахед Агаев посоветовал моему отцу, чтобы я сосредоточил свое внимание на пейзажной лирике, поскольку у нас, то есть в среде литераторов, «пейзажистов» не было. Но юность всегда «болеет» максимализмом: я писал и о патриотизме, и о партии, и о любви, еще не ведая, что это за магическое явление, и о дружбе...

В ту пору при редакции молодежной газеты «Комсомолец Дагестана» работал литературный кружок, который посещали не только начинающие литераторы, но и любители поэзии (о чем я коротко упомянул выше, и, думаю, что не лишне будет повторить).

Вел занятия поэт Матвей Львович Грунин. Человек он был уже в годах. Высокий, худой, с густой копной волос на голове, длиннолицый, за толстыми стеклами очков – холодный, пронзительный взгляд. Мне кажется, он никогда не только не смеялся, но даже не улыбался. И всегда был точен в высказываниях, лаконичен, требователен (кстати, я познакомился и долгие годы дружил с его сыном телеоператором Вадимом Груниным, интеллигентным и очень веселым парнем).

Стихам Матвея Львовича тоже были присущи лаконичность, точность, ясность.

Его взгляды на поэзию схлестывались со взглядами Самсона Бройтмана, студента-старшекурсника нашего университета.

Если Матвей Грунин восхвалял в своих стихах людей труда, славил рабочие профессии и учил своих слушателей тому же, то Самсон Бройтман уходил в дебри философии и терялся в них. Лёня Лучкин упивался ли-

рикой, Петя Малаев проявлял себя во всех ипостасях, и только Юрий Ягданов, Иван Неботов, Вася Гончаров, Борис Булычев, Виктор Черкасов и еще несколько человек избрали путь учителя.

В 1961 году Дагестанское книжное издательство выпустило в свет стихотворный сборник, составленный из произведений участников литкружка. В нем были представлены и литературные работы национальных поэтов в переводах кружковцев.

Из трех моих стихотворений, отобранных Матвеем Львовичем Груниным и помещенных в сборнике, по сей день в памяти осталось одно:

*Пылал закат, расколотый гранатом,
Дожди в траву упрятали глаза,
А надо мною распоротым канатом
Тянула к югу радугу гроза.
И журавли, курлыкая протяжно,
Взлететь желая в неба синеву,
Натягивали радужную важно
Упругую цветную тетиву.*

От других, а подано было с десятков и которые почему-то не привлекли внимание учителя, вот уже пятьдесят лет помню по две последние строки:

«...Нам памятником будет спутник и пьедесталом шар земной» (стихотворение было написано по случаю запуска в СССР спутника Земли), «...Из пепла всех воспоминаний блеснешь ты слитком серебра» (а это уже лирика).

Мы, молодые, стихи складывали по всем правилам русского стихосложения. Сохранялась четкость ритма, грамотность и звучность рифмы, красивы были образы, сравнения, метафоры... Но... не хватало чего-то. Чего? Потом уже, со временем, с годами, я понял – чего. Они не были выстраданы. Они не заставляли ко-

лотиться сердце, не возмущали мысль, не будоражили душу, не выдавливали слезы радости и восхищения из глаз.

Да, они были красивы. Но складывая их, поэт не страдал сам, не сострадал другому. Душа его молчала. Работал только разум. Может быть, поэтому из большой группы литераторов-литкружковцев в дальнейшем членами Союза писателей СССР стал Виктор Черкасов, да больше никто, по-моему. Меня приняли в творческий Союз писателей в 1978 году уже как прозаика, к тому времени я был автором пяти книг прозы.

Как я «изменил» поэзии и «подружился» с прозой?

Не совершу греха, если еще раз повторюсь: 4 июля 1960 года я поднялся на второй этаж двухэтажного дома, что стоял на пересечении улиц имени Буйнакского и Дахадаева и вошел в коридор редакции республиканской молодежной газеты «Комсомолец Дагестана».

И журналистская романтика захлестнула меня. Держать в голове эпитеты, сравнения, метафоры, образы и красивые, живописные виды гор, степей, фруктовых садов, виноградных плантаций, хлебных полей, лица людей, их мысли, думы, радости, беды – было тяжело. Невыносимо. И я, как говорил Маяковский, «наступил на горло собственной песне». Выгнал из сердца поэзию. Точнее, читать – читал, но своих стихотворений старался не писать. Перешел на прозу, благо сюжетов, типажей, прототипов для рассказов было предостаточно. Ведь в командировках я встречался с десятками и десятками людей с необычной судьбой, своим видением мира, отношением к жизни, бывал в различных ситуациях, участником различных событий. Для газеты я готовил статьи, репортажи, очерки, которые строились и цемментировались фактами, а в голове и душе рождались мысли, требовавшие художественного вымысла, фантазии...

Первая моя небольшая книжка рассказов под названием «Где-то есть сын» вышла в свет в 1969 году. Казалось бы, ну вышла и вышла, кто только не издавал свою первую работу, которая... для многих так и оставалась первой. Издало ее Дагестанское книжное издательство. Пошли поздравления знакомых и незнакомых. В чем дело – спрашивал себя я, пока мой друг не сообщил, что добрая благожелательная рецензия на нее опубликована в центральном журнале «В мире книг». С автором рецензии Н.Евграфовым я познакомился спустя полгода, когда он посетил Махачкалу по приглашению друзей – пишущей братии. Книга была замечена и литературной критикой Дагестана: в молодежной газете «Комсомолец Дагестана» выступил с рецензией Б.Брагинский.

Размышляя над созданием рассказов, я стал все чаще задумываться: почему я должен свои мысли, думы вкладывать в выдуманного героя?

Так не пойдет. Так нельзя. Читатель не примет его, не поверит ему, ибо он придуман и потому безлик. Надо, обязательно надо искать прототип – списать с кого-то образ. Значит, я должен искать прообраз.

Забегая вперед, замечу: в романе «Монолог на площади Согласия» прототипами моих героев были мой дед, отец, мать, дяди, мои соседи, да и сам я.

И я приступил к написанию повести «Слышать голос твой», которая состояла из четырех новелл. В ней был описан я с обуревавшими меня юными чувствами, мыслями, поступками, мои друзья и коллеги, город, в котором я жил четыре года войны, быт и нравы его жителей... Написав, вернее излив всего себя в повесть, я хотел теперь убедиться, получилась ли она? Кому предложить ее? Выбор пал на моего товарища и коллегу Сулеймана Хаппалаева, сына народного поэта

Юсупа Хаппалаева. Был он начитанным молодым человеком, не любил кривить душой.

В просьбе прочитать рукопись он не отказал. Неделю спустя вернул и молча пожал руку.

– Ну что? – спросил я коротко, хотя по рукопожатию ответ уже был ясен.

– Хорошая повесть. Весь ты там. Особенно трогательна четвертая новелла – «Мальчик из детства» – о голодном военном детстве.

– Не скупись на критику...

– А что критиковать-то? Свежая вещь. Яркие убедительные натуры. Хороший язык. Поздравляю!

Книга «Слышать голос твой» вышла в свет в 1972 году. И быстро исчезла с полок книжных магазинов (в ту пору книги не залеживались, они были чуть ли не «товаром» первой необходимости. Это сегодня труд, мысли и слово писателя оказались невостребованными. Потому что общество отвернулось от своей души. Стыдливо отвернулось.)

Кто в молодости не влюблялся, не страдал от безответной любви, не желая даже задуматься – а любовь ли то чувство, которое его томит? Кто не пытался выяснить степень нравственности отношений между мужчиной и женщиной? Я как молодой литератор взял на себя смелость «окунуться» в их взаимоотношения. Но на что опереться, где почерпнуть материал: сюжеты были, а вот как быть с душой? Нет души – нет энергетики. И я решился на смелый шаг (для себя конечно): сделал опять себя прототипом героев, подарил им свои чувства, свои мысли, одним словом, вдохнул в них свою жизнь.

И одна за другой (год за годом) выходят две небольшие книги рассказов «Мужская любовь» и «Бег времени». И на обе тут же откликаются рецензиями (в «Дагестанской правде» Ю.Матвеев – «Они живут рядом», и в той же газете М.Акушинский – «И оглянись,

и путь продолжи свой...»). Помню, когда мою супругу спрашивали, читала ли она мои книги и какого мнения о рассказах о любви, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, она коротко отвечала: «Он весь с головой в них...»

Следующим этапом на моем писательском пути оказалась дагестанская тематика. Хотя я и был русскоязычным автором (литературным татским (фарси) вообще не владел, если не считать бытового языка), я должен был иметь свою платформу, опираться на национальные традиции, знать и изображать быт, обычаи и характеры, менталитет этносов, населявших веками горный край. Работа, за которую я принялся, хотя и должна была показаться трудной, однако, мне доставляла истинное наслаждение. Ведь я вырос и жил в среде многих этносов, упивался их мудростью, остроумием, щедростью натуры. И потому мне самому доставляли удовольствие повести, посвященные им: это и «Семь дней тревоги», и «Мелодии дербентских улиц», и «Происшествие в ауле Муно», и «Па, расскажи про Париж», и «Кардибская осень», и «Пожар», и «Жизнь в кредит», и большой цикл рассказов.

Статьи и рецензии, посвященные перечисленным литературным работам, последовали одна за другой – Камала Абукова («На пути добрых перемен»), М. Гасангусейнова («На пути к зрелости»), Мусы Магомедова в альманахе «Дружба». Известный аварский писатель Муса Магомедов был несказанно удивлен тем, как точно, живописно изображены в повести «Кардибская осень» быт аварского хутора, менталитет старого охотника, характеры близких его людей.

А ведь никто и не подсказывал сюжет повести. Будучи в командировке в Тляратинском районе, как-то в конце дня с хозяином дома и его другом мы поднялись в горы и вышли к границе с Азербайджаном. Перед нами простиралось огромное плато, залитое огнем закат-

ного солнца. Красота неопиcуемая. Над головой – низкое холодное небо, впереди, куда ни бросишь взгляд – пылающая темным золотом плоскость, которую окаймляют хребты и зубцы гор, покрытые снегами.

На склоне ближней горы стоял каменный дом. Вернее – оcтoв дома. Совсем недавно он был объят пожаром и хозяин его cтopел в огне. Вот этот cлyчай, рассказанный мне на следующий день местными жителями, и подсказал сюжет повести: правда, не обошлось без художественного вымысла.

Кстати сказать, знание мною жизни, быта, культуры, фольклора и, особенно, менталитета этносов Дагестана подвигло известного лезгинского писателя, доктора филологических наук Курбана Акимова перевести несколько моих повестей и рассказов на лезгинский язык и включить в хрестоматии и учебники литературы для национальных школ.

26

Шло время, и я стал все острее чувствовать желание, даже больше – неистребимое – обратиться к большому художественному полотну. К роману. Не к толстому, его бы я не осилил – не хватило бы усидчивости, да и журналистика занимала много времени – (она была моей основной профессией и кормила меня), а обычному по стандартным меркам, роману страниц на триста. И тема у меня была превосходная – любовь к родине, к родному очагу. И сюжет был готов и распирали мозг – сага о двух семьях, переживших революцию, Отечественную войну, принявших на себя все удары судьбы и вышедших из испытаний каждая по той дороге, которую выбрали себе сами... И прототипы, прообразы были живые, яркие, колоритные, характерные, потому что жили рядом со мной, были мне очень знакомы и близки. Мне нужен был советчик...

Когда я задумал писать повесть «Происшествие в ауле Муно» (а первоначально хотел назвать ее «Гром среди ясного неба»), и как-то о сюжете заикнулся в разговоре с отцом, тот сразу понял идею и твердо сказал: пиши, получится интересная книга. А идея заключалась в том, что на фоне страшного землетрясения у большей части людей раскрылись человеческие слабости и пороки: страх, подлость, ложь, алчность, ненависть, затмевая хваленные нравственные ценности.

С поставленной задачей я справился.

А теперь у меня не было советчика.

Но я решился приступить к работе.

Писал долго. Целых три года. И только во время отпусков. Одна треть была начата в Махачкале, вторая треть писалась в Международном доме творчества журналистов «Интерпресс» на озере Балатон, и, наконец, последняя часть в Доме творчества имени Яна Райниса в Дубулты (Юрмала). Роман назывался «Монолог на площади Согласия».

В тот период нашей жизни рукопись книги, прежде чем войти в план издательства, должна была получить рекомендацию русской секции Союза писателей и две рецензии. На первую рецензию ее отдали неизвестному мне литератору. Время шло неумолимо, а меня не знакомят ни с рецензией, ни с самим рецензентом. Наконец, из полунамеков я понял, что рукопись... потеряна. Моему возмущению не было предела.

Что, если и на самом деле рукопись потеряна и ею может завладеть кто-либо да использовать как ему заблагорассудится?

Надо было срочно подтвердить свое авторство. За советом и помощью я обратился в редакцию журнала «Советский Дагестан» к коллегам, с которыми сотрудничал. Редактором в ту пору был Магомед Бутаев (одновременно и Председателем Союза журналистов Дагестана), заместителем редактора Геннадий Суда-

ков, заведующими отделами Юсуп Хаппалаев, Галина Здоровец, Нелли Астратьянц, Луиза Ибрагимова. Высокие профессионалы, люди с чистой совестью, обладавшие острым восприятием жизни. Поняв сложившуюся ситуацию, они приняли решение в очередном номере журнала опубликовать несколько глав из моей будущей книги.

Так авторство мое было сохранено. Затем я предложил руководителю русской секции Марине Ахмедовой дать на рецензию мою работу известному писателю Магомед-Расулу и известному литературному критику Камалу Абукову.

Третья рецензия была получена из Москвы (обычно серьезная литература, если в ней затрагивались идеологические вопросы, проходила через соответствующие органы. Именно так, через высокие инстанции, прошла рукопись моей книги повестей и рассказов «Белый аист»).

Первый свежий экземпляр «Монолога на площади Согласия» я подарил Расулу Гамзатову. Спустя несколько недель, когда мы сидели у него дома и продумывали статью для центральной газеты, он заметил: «Хорошая получилась книга. Хороший роман. Надо подумать о премии...»

Но... благие намерения часто остаются благими. Очевидно, в суете будней, в писательских заботах, в череде событий они забываются.

С обширной рецензией на роман на страницах «Дагестанской правды» выступил доктор филологических наук, профессор Дагпедуниверситета Султанмурад Акбиев, заметив, что книга «Монолог на площади Согласия» – это явление в нашей дагестанской литературе и заслуживает Государственной премии республики.

На этот раз и голос профессора остался без внимания.

Зато «Монолог...» претерпел еще несколько изданий. Сначала он вошел в сборник повестей и рассказов

под названием «Пришествие», выпущенный в свет к моему шестидесятилетию, а затем занял почетное место в сборнике «Было все в этом мире призрачно».

27

Это было какое-то наваждение.

Как только я ложился на диван отдохнуть и забывал о дневных передрягах на работе, меня начинали захлестывать мысли. Мысли о параллельных мирах, о плазмоидных и эфирных существах, мысли о смерти как о спутнице жизни, о мужчине и женщине – их связующих и разъединяющих началах, о предназначении человека и цели в жизни, и так далее, и так далее.

Вначале были мысли.

А потом пошли, потекли, посыпались целые тексты. Тематически. Логически четко выстроенные. Они шли откуда-то из пустоты. Я бы сказал – сверху. Но там был потолок. Значит, из космоса? Но почему мне?

Я пытался отвлечься от них, но они упорно и настойчиво захлестывали голову и она уже не в силах была сдерживать напора.

И однажды я сел вечером за стол и строки словно сами устремились за мыслями. Пальцы, державшие ручку, ныли, кисть руки коченела, а кто-то или что-то упорно заставлял меня записывать. Записывать чьи мысли? Я не знал и даже не пытался уже задумываться. Писал. Словно на одном дыхании.

Потом наступал покой.

На следующий день повторялось то же давление – давление чьей-то воли.

Это наваждение продолжалось недели две. И вдруг прекратилось. Внезапно.

А на столе лежала дюжина эссе.

Кому открыться? Как объяснить это удивительное явление? Поймут ли меня? Не осмеют ли?

Ведь было же такое. Было.

Я как-то сообщил жене, что меня три ночи окликают ее голосом, а проснувшись, озираюсь по сторонам – и нет никого... Спустя некоторое время мне привиделся мой ангел-хранитель: на меня в упор пронизывающим взглядом глядела женщина с холодными глазами, заставив приподняться и сесть в постели...

Мне не верили и тогда, когда я побывал в состоянии клинической смерти. Укол хлористого кальция полыхнул во мне пламенем, меня затянуло и понесло со страшной скоростью по горящему огнем туннелю, но вот что удивительно – я не чувствовал ни страха, ни боли, ни тревоги – меня несло словно бесполое существо, пока не очутился на песчаном белом берегу у белого цвета моря, в окружении существ в белых одеяниях...

Есть ли другие миры? А почему нет? По какому праву мы должны существовать в природе, а другим существам не позволено? Не слишком ли самоуверен человек?

И почему «негодные» или «неугодные» мысли стали посещать меня? Именно меня, а не кого-то другого? А может быть посещают и других, но они боятся открыться, признаться? Или не верят? Я переступил порог неверия в существование иных миров, других разумных существ?

На столе лежала дюжина эссе.

Кому открыться? Кому дать свое чтиво? У кого спросить совета?

Не знаю, почему, но я отправился к моему другу, писателю Магомед-Расулу (может, это была воля свыше? Как знать).

Он выслушал меня (я подробно рассказал, как они «пришли») и согласился прочитать.

Спустя неделю я зашел к нему выслушать его мнение. Из-за толстых стекол очков на меня внимательно,

с любопытством глядели острые глаза. На губах лежала улыбка (я хотел бы ее назвать удивленной, если таковой она может быть).

– Как ты к ним пришел? – спросил он.

– Они сами ко мне пришли. Мучают. Устал я от них.

– Пиши. Не останавливайся.

– Больше не приходят.

– Не останавливайся, – твердо и строго заявил он.

– Придут. Пиши. Это в нашей литературе что-то новое...

Они вновь явились, только спустя три месяца. Опять я уходил в ирреальный мир и возвращался обновленный, одухотворенный, обогащенный новым видением и пониманием жизни.

Когда литературный критик Камал Абуков прочитал эссе, составившие значительную часть моей новой книги «Время раздумий», он выразился осторожно, но точно «Феликс Бахшиев откровенно и просто говорит о таких вещах и явлениях, о чем мы все думаем, но не решаемся произносить вслух».

Петр Рубцов, ознакомившийся с эссе задолго до выхода в свет книги «Время раздумий» (они были опубликованы на страницах общественно-политического еженедельника «Махачкалинские известия»), выразил свое отношение к ним в личном письме. Привожу из него несколько строк:

«С большим удовольствием я читаю мудрые (без преувеличения!) эссе в газете, и прости уж, с горечью думаю, что далеко не все, кому необходимо, хорошенько вчитываются в твои строки-мысли. Возможно, я ошибаюсь, но, дорогой Феликс, порой кажется, что мы, тогда еще сопливые газетчики, были порой и более дальновидными, и более одухотворенными, чем сегодняшняя «поросль»... Сегодня, читая твои работы, я на время не хочу помнить, что на дворе «двадцать первый» век,

и вновь опускаюсь в те благословенные времена, когда мы искренне и верили, и любили, и мечтали о прекрасном будущем. Пусть не сегодня, но позже, надеюсь увидеть твою новую книгу, обобщающую в единой обложке твои материалы – как своего рода добрый «учебник» для тех, кто идет за нами...»

Если говорить об отношении литературных критиков, литературоведов, писателей и просто читателей, они не были безучастны к моему творчеству, не «скупилась» на рецензии, отклики. Как я уже отметил выше, уже первые книги были замечены и профессионально оценены Борисом Брагинским, Михаилом Акушинским, Юрием Курбановым (Юрием Коликовым). Глубокие, обширные статьи ведущего литературного критика Камала Абукова были посвящены сборнику «Белый аист» («Тоска по белому аисту. Заметки о новой книге Феликса Бахшиева», опубликована в «Дагестанской правде», в центральном журнале «Литературное обозрение», прозвучала по республиканскому радио), книге повестей «Кардибская осень» («Чувство пути» Штрихи к творческому портрету Феликса Бахшиева», (журнал «Советский Дагестан»), с обширной критиколитературоведческой работой по выходе в свет моей публицистической книги «Портреты. XX век в лица» Абуков выступил в газетах «Молодежь Дагестана» и «Литературный Дагестан». Содержательную рецензию на роман «Монолог на площади Согласия» опубликовал в «Дагестанской правде», как я выше заметил, доктор филологических наук, профессор Султанмурад Акбиев.

В республиканском еженедельнике «Махачкалинские известия» Г.Абдуллаев (Н.Гаджимурадов) в статье «И приходит время раздумий» сумел тонко и точно подметить философскую суть эссе в книге «Время раздумий».

Почти ни одна из вышедших в свет книг не была обойдена вниманием литературной критики и не залеживалась на полках книжных магазинов.

Благословенны часы, когда тебя читают и оценивают. Когда сопереживают тебе, твоим мыслям.

28

А тут я открыл в себе еще одну странность.

Как-то ночью мне приснился день похорон моего младшего брата. Он родился спустя четыре года после войны и прожил всего четырнадцать дней. Заболел желтухой: врачи не доглядели. Прошли десятки лет. И вдруг тот трагический день «явился» мне во сне во всех подробностях. Мой дед, повидавший на своем веку многое, беззвучно плакал: из его зеленых глаз выкатывались слезы и сползали по морщинам лица. Отец и мать, бледные от горя – малыш был их желанным ребенком, собирали его в «путь»... А он был... как он был похож на отца: белокожий, круглолицый, с ямочкой на подбородке... Предали земле малыша на кладбище в Баилово, на холме, откуда виден весь Баку, приморский бульвар, Каспий... Вернувшись домой, я забился в уголок коридора и разрыдался. Рыдал я долго, вздох-леб, пока не подошла встревоженная мать, я вскочил на ноги и выбежал из дома. В этот день я бродил по улицам Баку до глубокой ночи...

Все это я увидел во сне. Почему? Кто решил напомнить мне о младшем брате, имя и память о котором были преданы забвению? Весь день я мучился этими мыслями. Вечером сел за стол и на одном дыхании написал эссе «Четырнадцать дней и вся жизнь». И словно от какой-то тяжести освободилась душа. Внезапно острая мысль пронзила меня: а что, если он, брат мой, дух его, хотел напомнить, что пятьдесят лет прошло с того дня, как он ушел от нас? Пятьдесят лет исполнилось бы ему, будь он жив.

Так кто велел вернуть его из забвения к живым?

Я думаю, да нет – не думаю, я давно убежден, что многие сны посылают высшие силы, нет, нет к нам поступает информация из космоса: ведь человеческий мозг не что иное, как материальный робот, управляемый извне...

Как-то мне приснился зеленоглазый юноша, долго и грустно вглядывавшийся в меня. Потом видел его блуждавшим по узким улочкам магалов Дербента, потом шагавшим за торговым караваном. Я проснулся в холодном поту. И внезапно меня пронзила мысль: неужели то был мой дед? Что он хотел от меня? Почему он явился в юном возрасте – ведь я не знал его таким? И тут вспомнил досужие разговоры (а досужие ли они были?) о том, что в юном возрасте он увидел в магале девушку и влюбился в нее. Ни на следующий день, ни в другие она ему больше не встречалась. В магале сердобольные люди поведали ему, что она гостила в Дербенте у родных и уехала в Стамбул.

И зеленоглазый юнец, в порыве первой любви, втайне от родителей, от друзей, пешком идет в Стамбул. Год бродяжничал он по улицам большого города и, не найдя ее, вернулся домой.

К чему был тот сон? Может, он хотел, чтобы я рассказал о великой любви, о силе всепоглощающей любви, о прелестном образе турчанки, который берег в сердце до последних дней своей жизни?

Двадцать шесть вечеров я садился за стол и писал по главе. Двадцать шесть вечеров – двадцать шесть глав. Вместе с зеленоглазым юношей шел с караваном по земле Кавказа. Вместе мы бродили по улицам Стамбула в безуспешных поисках юной девушки. Вместе страдали и находили отдохновение в красотах города. И название сладким мытарствам придумали, как мне показалось, вместе – «Было все в мире этом призрачно».

Повесть-притча «Было все в мире этом призрачно» дала название книге, выпущенной в свет к моему семидесятилетию. В сборник вошли роман «Монолог на площади Согласия», эссе и стихотворения. Помню, с какой довольной, радостной улыбкой дарил мне первый экземпляр, еще пахнувший типографской краской, директор книжного издательства Магомед-Расул.

А как-то вечером мне позвонил кинорежиссер-документалист Магомед Сулейманов.

– Слушай, брат, ты же знаешь, что у меня сердце больное – сам же навещал меня в больнице.

– Принимай регулярно валокордин, кардиолу, мил-дранат...

– Я «принял» твою притчу. На глазах выступили слезы, в горле – ком. Слушай, брат, у нас давно так не пишут, нас отучили от хорошей литературы. Спасибо, брат...

В голосе его чувствовалась дрожь.

29

Жизнь продолжалась. Если проза застоялась и ждала своего времени, чувства, мысли, отношение к жизни, к новому времени, к новому племени выливались в стихи. Их набралось уже более двухсот, когда я решил сделать себе подарок – издать небольшую поэтическую книгу. Почему себе? Потому что общество упорно (словно под чьим-то давлением) «отворачивалось» от книги и «уходило» (окуналось) в интернет.

А «товарищи» по цеху упорно не желали видеть во мне поэта, молчаливо чего-то выжидали. Меня поддерживал Магомед-Расул, который, прочитав одну из подборок стихотворений, опубликованных в газете, позвонил мне на работу и коротко сказал: «Твои стихи превзошли твою прозу».

Где-то в глубине души родилось огромное желание выпустить первую поэтическую книгу на склоне лет. Ведь я начинал свой путь в литературу со стихов и заканчиваю, видимо, стихами? Все возвращается на круги своя? Неужели нас водят невидимые нами силы?

Неожиданно главный редактор издательства Лариса Голубева (считаю ее ангелом-хранителем многих литераторов Дагестана) внесла коррективу в мои планы. Она предложила совместить в новой книге стихи и прозу.

Я долго думал над ее предложением, перебирал все «за» и «против», но, наконец решился воспользоваться им: был убежден, что она плохого не посоветует.

Тем более, что я завершил небольшую прозаическую работу, в которой делился сокровенным. А была это автобиографическая повесть под названием «Долгая дорога к истине».

И тут не обошлось без посторонней силы, или вернее постороннего вмешательства. Была у меня задумка продолжить работу над второй книгой романа «Монолог на площади Согласия». Написал довольно значительную часть. И название дал ему уже – «Не умирай, пока живешь».

Но почему-то автобиографическая повесть «перебежала» роману дорогу. Почему? Что это за сила, властвующая над нами?

30

И вот он, мой очередной труд у вас в руках. Что послужило его написанию? Сначала у меня родилась задумка изложить короткие автобиографические заметки. Сейчас уже понимаю, что задумка была мне ниспослана...

Так же, как и эссе. Как и стихотворения.

Я хватывался за подаренную идею, как за соломинку, ибо она продолжала смысл жизни. В процессе

работы заметки вылились в небольшую повесть, которая описала мой путь в журналистику и литературу – длинный, долгий, тяжелый и радостный, где ровный, а где и в колдобинах и ухабах.

Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы помочь человеку советом, делом, словом, теплом своим.

Помог ли? Не мне знать.

Ведомо только ему.

Главное – пытался и старался.

Я жил его думами, заботами, печальями. Дарил свои мысли, свою боль и радость тому, кто в них нуждался, свое понимание о чести и совести, о добре и зле.

О добре, которое мы сегодня дарим скупое, с оглядкой. И о зле, которое переполняет многих из нас, разъедая самих же нас изнутри. Как червь.

Душа моя желала поведать о себе.

И о тебе, мой читатель.



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
-----------------------	---

Вы слушали Равеля «Болеро»?

«Голос ли разума...»	8
«Я жизнь не пил как терпкое вино...»	10
«Ты знаешь, как рождается песчинка?...»	11
«Что ждет меня за синим горизонтом?...»	12
«Я каждый вечер...»	13
«Когда на свет рождается малыш...»	14
«Если ко мне наяву не приходишь...»	15
«Земля богов. Земля дедов. Земля отцов...»	16
«Из вод приходим, а уходим в землю...»	17
«Был год, был страшный год, когда оскалюсь...»	18
«Бодибилдинг наша жизнь, бодибилдинг...»	19
«Вот желтый лист...»	20
«Не вызывай сочувствия к себе...»	22
«Горит свеча моя и тает...»	23
«И мы любили. И мы смеялись...»	24
«В мир солнца мы приходим одинокими...»	25
«Не ропщите на судьбу свою...»	26
«Ложатся на деревья наши годы...»	26
«Как снежные лавы, плывут облака...»	27
«Как много света в этом снеге...»	28
«Откуда ты явилась в этот мир...»	28
«Как четыре загадочных времени года...»	29
«Пять свечей подарила мне мать...»	30
«Чем восхищаться, милый собрат?...»	31
«Утоли моя печали...»	32
«Одна, вторая, пятая, десятая...»	33
«В какое время смутное живем...»	34
«Осенний дождь смывает с нас грехи...»	35
«Я расстилаю весну пред тобою...»	36
«Перебирая четки лет...»	37
«Прожив жизнь, на склоне долгих лет...»	38

«Как много чинов наплодилось сегодня...»	38
«Коней на переправе не меняют...»	39
«Царь Соломон оставил нам завет...»	39
«Все, что сегодня познаем...»	40
«Токует глухарь на току...»	41
«По рельсам неистово мчатся составы...»	42
«И все. Я прожил жизнь. Вкусил ее плоды...»	43
«Мой сад большой. Ведь мне немало лет...»	44
«Отгорает на небе звезда...»	45
«Соловьи поют очумелые...»	46
«Еще не вечер...»	48
«Впереди у меня зима...»	49
«Август пропотел. Слезится осень...»	49
«Дожди расписывают землю...»	50
«Заглянул мне в окно человечек...»	51
«Тик-так, тик-так...»	52
«Отгорел мой день сегодня, отгорел...»	53
«Красный конь стоит на косогоре...»	54
«Стою с протянутой рукой...»	55
«Эта небесная пена...»	56
«Белый пух шалит над городом...»	57
«А было счастье или нет, не знаю...»	58
«Зимы моей чарующие струны...»	59
«А правда наша уж давно не правда...»	60
«Она прошла. Вернулась...»	61
«Зеленые брызги рассыпались...»	62
«И все. Была как луч зари...»	63
«Стоим с тобой над пропастью во лжи...»	64
«Не отлетай, последний лист осенний...»	65
«Мастер подгоняет плитку к плитке...»	66
«Я прилетел к тебе из дали дальней...»	67
«Благословен сентябрь в Железноводске...»	69
«Под вой ветров, под шум дождей...»	70
«Я вздрогнул, увидев знамение в небе...»	71
«Все сказано. Все спето...»	72
«Плачет алыт за холодной стеной...»	73
«Колокола гудят, колокола...»	74
«Уведи меня в желтую осень...»	75
«Море в дымке...»	76
«У калитки в дождливое лето...»	77
«В Долине роз рассыпана роса...»	78
«Правды нет!» – изрек дурак однажды...»	79

«Наше детство прошло в переулках...»	80
«Горела рукопись в камине...»	82
«Я к гадалке пойду погадать...»	84
«Какое утро искристое, яркое...»	86
«В широко распахнутых глазах...»	87
«Души моей отдохновенье...»	88
«Как поздно вспоминаем мы...»	89
«Мы дети вечности с тобой...»	90
«Не в большом позолоченном храме...»	91
«Ну и что, если солнце померкнет?...»	93
«Устало лето от жары и зноя...»	94
«Тучи пляшут сивые...»	95
«Резки очертания портала...»	96
«Идет на Земле спектакль...»	98
«Мой старый друг ушел за перевал...»	100
«В палатное окно не заглянул...»	102
«Кружится, вертится...»	103
«Оставайся на Земле. Как травинка на Земле оставайся...»	104
«Вы слушали Равеля «Болеро»?..»	105
«Пахнет осенью – прелыми листьями...»	107
«Горит закат. День на исходе...»	108
«Что-то стало скучно в нашей жизни, пусто...»	109
«Я беседую с дождем...»	110
«Я стою на берегу...»	112
«Не знаю, как долго я спал бы...»	113
«Настоящее время...»	114
«Ох, как хочется одиночества...»	115
«Ты не исполнил ноту соль...»	116
«Что-то осталось за синей горой...»	117
«Закружился бы, да годы вот не те...»	117
«В беспосадочный полет...»	118
«В ясном небе отразились купола...»	120
«Как сладка была эта ночь...»	121
«Клавиши бьются о душу и нервы...»	122
«Убегает назад заревевший перрон...»	123
«Человек открыл материки...»	124
«Затряслась, задрожала мелодия...»	124
«Родиться Христом или хриstopродавцем...»	125
«Еще одна весна исписана...»	126
«Что там на Марсе? Кто там на Марсе?...»	127
«Каждую ночь приплывает ко мне...»	128
«В небе медленно плывет...»	129

«Ну где ты, брат?..»	130
«Стесняться жесткой честности отцов...»	131
«Дай руку, жизнь, дай душу...»	132
«В век глупостей, глумящихся над нами...»	134
«Прелестная женщина Юля...»	135
«Глазеть нам было страшно любо...»	137
«Возьму тебя в свои шальные сны...»	139
«Я тоскую...»	140
«В историю уходят тихо мамонты...»	141
«А вода продолжала плескаться...»	141
«В моем замшелом доме дышит лес...»	142
«Ну, здравствуй. Ну, что ты мне скажешь?..»	144
«Ты дом построил, всем на зависть дом...»	146
«К нам движется безмолвный астероид...»	147
«Кого в апостолы запишешь?..»	149
«Другое время. Племена другие...»	150
«И завьюжил долгожданный снег...»	151
«Ну что такое?..»	152
«Я в этом мироздании один...»	153
«Если б я знал, что увижу звезду...»	154
«Что мне делать с тобой?..»	155
«Несравненная. Окаянная...»	156
«Разве я знал...»	157
«Мы с тобою отдаляемся...»	158
«Уходи из памяти моей...»	159
«Маюсь. С чего? Не знаю...»	160
«Дай мне пожить в одиночестве...»	162
«Где затерял я кольцо золотое?..»	163
«Мне в этот вечер плакать хочется...»	164
«Все отгорело...»	165
«Нам бывает и грустно, и тягостно...»	166
«Почему в моем сердце так много тоски?..»	167
«Всем хороша – и голосом, и статью...»	168
«Были встречи. Но пройдет и эта...»	169
«Милый мой человек...»	170
«За глухую стеной кто-то плачет навзрыд...»	171
«Не хочется ни думать, ни мечтать...»	172
«Хочу! и никаких гвоздей...»	173
«Дожди...»	174
«Слезы осени стучатся в зонт...»	176
«Опять пришла заплаканная осень...»	177
«Валится...»	178

«Ты говоришь, что мир уже устал...»	179
«Запорошит ночную землю снег...»	180
«Я слеза, ты слеза...»	181
«Я не я. Ты неты...»	182
«Обниму тебя за плечи...»	184
«Я разуверился во всем...»	185
«Пред именем твоим я встану на колени...»	186
«Мне б купить зеленый остров...»	187
«Как ты живешь там, на Севере дальнем...»	189
«Я в строку вплетаю сострадание...»	190
«Хотя бы две строки на память вам...»	191
«Я шут. Я жалкий шут. Я тот, кому король...»	192
«В закрытой клетке сердце мечется...»	193
«Каждый день...»	194
«В левой руке весло...»	195
«О себе, о времени, о жизни...»	197
«Как мне нравится смех твой раскатистый...»	198
«Поджидаем...»	199
«Не торопи меня признать свои года...»	200
«Благодарю тебя безмолвно, жизнь...»	201
«Что только не болит у человека...»	201
«А может, ты еще вернешься...»	202
«Оранжевые спины гнут хлеба...»	203
«Догорает закат над Каспием...»	204

Долгая дорога к истине

Долгая дорога к истине	206
Душа желала ведать о себе. Послесловие	311

Феликс Михайлович Бахшиев

ВЫ СЛУШАЛИ РАВЕЛЯ «ЕОЛЕРО»?

Редактор *В. Полюля*

Художник *М. Левченко*

Художественный редактор *М. Левченко*

Технический редактор *В. Гаджиева*

Корректор *Д. Багдасарова*

Лицензия ИД 05334 от 10.07.01.

Подписано в печать 20.05.12.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.

Гарнитура «Minion». Печать офсетная.

Уч.-изд.л. 10,5. Усл.печ.л. 17,7.

Тираж 300 экз. Заказ №51.

Цена свободная.

ГАУ «Дагестанское книжное издательство»

Комитета по печати

и массовым коммуникациям РД,

367025, РД, Махачкала, ул. Пушкина, 6.

ООО «Издательство Лотос».

367025, РД, Махачкала, ул. Пушкина, 6.





